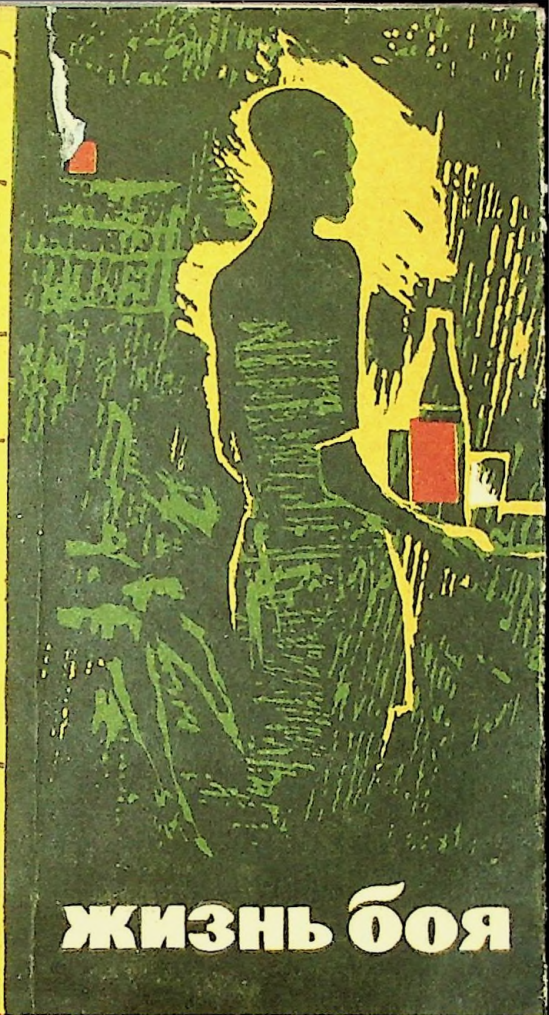


24.6 (АФР.)
0-48.



ЖИЗНЬ БОЯ

*Фердинанд
Ойно*



74100

И(АФР.)	ОЙОНУ Ф
0-48.	ОТКРЫТЬ

БОЯ.

РОМАН.

			30к.

74100

В.И.Б. (1992)

С. 42 .

ИЗДАТЕЛЬСТВО
**«художественная
литература»**

МОСКВА
1964



69

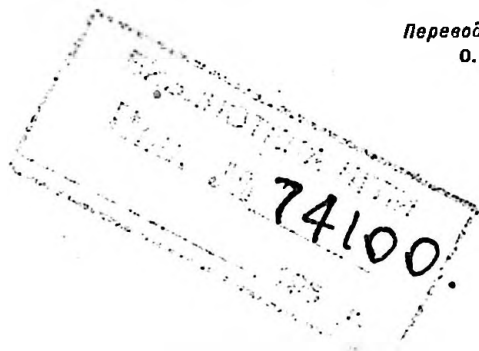


Фердинанд
Ойоно

ЖИЗНЬ БОЯ

РОМАН

Перевод с французского
О. МОИСЕЕНКО



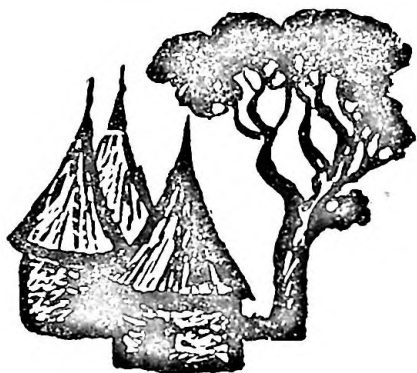
1

И(Афр)

048

Послесловие
М. ВАКСМАХЕРА

Художник
Н. КРЫЛОВ



Вечерело. Солнце уже скрылось за высокими вершинами деревьев. Густой мрак, выползавший из леса, поглощал Акоту. Стаи туканов быстро прорезали воздух, и их жалобные крики замерли в отдалении. Последняя ночь моего пребывания в Испанской Гвинее, крадучись, спускалась на землю. Скоро я покину этот край, куда мы, «французы» из Габона или Камеруна, присажаем в поисках новой жизни, когда отношения с белыми собратьями окончательно разладятся.

Настал час ужина, состоящего, как обычно, из рыбы и клубней маниоки. Мы ели молча, ибо говорящий рот не жует. Растянувшаяся у моих ног собака следила завистли-

вым взглядом за кусками рыбы, которые исчезали во рту нашего гостеприимного хозяина, ее владельца. Все были сыты по горло. Покончив с едой, мы принялись поочередно рыгать, скребя по животу мизинцем¹. Хозяйка дома поблагодарила нас улыбкой. Вечер обещал пройти весело — сколько будет рассказано сказок из лесной жизни! Хозяева притворялись, что забыли о моем отъезде. Я охотно разделял их бесхитростную радость. Они думали лишь о том, чтобы усесться у очага и в тысячный раз пересказать приключения слона и черепахи.

— Жаль, луны больше нет, — проговорил хозяин, — а то мы сплясали бы в честь твоего отъезда...

— Может быть, зажечь большой костер во дворе? — предложила его жена.

— Я не подумал об этом засветло, дрова кончились...

Хозяйка вздохнула... Вдруг до нас донеслись зловещие звуки тамтама. Я не знал языка тамтама моих испанских сородичей, но сразу понял по их взволнованным лицам, что произошло несчастье.

— *Madre de Dios!*² — воскликнул Антон, крестясь.

Его жена закрыла глаза и тоже перекрестилась. Я машинально поднес руку ко лбу.

— *Madre de Dios!* — повторил Антон, обернувшись ко мне. — Опять несчастье с французом... Оказывается, какой-то француз при смерти и вряд ли переживет ночь.

Судьба постороннего человека — я даже не знал его имени — вызвала смятение в моей душе. Как странно! Весть о чьей-нибудь смертельной болезни не слишком взволновала бы меня в Камеруне, разве что пробудила бы

¹ Жест вежливости в благодарность за хорошее угощение.
(Прим. автора.)

² Матерь божья! (исп.)

вполне естественную, хотя и смутную, жалость, но здесь, на испанской земле, она потрясла меня.

— Сообщение тамтама передается из М'фула, ничего не понимаю,— продолжал хозяин.— Ведь в М'фула нет французов. Больной пришел, верно, сегодня утром. Завтра мы все узнаем.

Глаза присутствующих были устремлены на меня с выражением немого сострадания, которое мы так хорошо умеем им придавать. Я встал и спросил у Антона, далеко ли до М'фула.

— Надо только пересечь большой лес... В лампе полно керосина.

Этот человек поистине читал мои мысли.

Вооружившись копьями, мы тронулись в путь. Впереди нас шел мальчик со старой лампой-«молнией» в руках, ее неяркий свет слабо озарял дорогу. Мы прошли через две деревни. Жители узнавали Антона и спрашивали, почему мы отправились в путешествие в столь поздний час. Они говорили на своеобразном наречии — смеси ломаного испанского языка и местного говора, часто повторяли слово «француз». Все крестились. Но, распростившись с нами, встречные забывали про свою минутную печаль и весело кричали нам вдогонку: «Buenas tardes!»¹

Тропинка углубилась в лес.

— Уже устал? — спросил меня Антон.— А ведь путь наш только начинается...

Наконец тропинка вывела нас из леса и, извиваясь, побежала по саванне, где кусты эссонго достигали высоты деревьев. Звуки тамтама становились все явственнее. Мы

¹ Доброго вечера! (исп.)

вышли на поляну. Заунывный крик совы нарушил тишину, наступившую после глухого раската тамтама. Антон громко расхохотался, и его смех эхом прокатился среди лесных гигантов. Он обрушил на ночную птицу поток ругательств, словно обращался к человеку.

— Это бедняга Педро! — проговорил он, все еще смеясь. — Пройдоха умер две недели назад. Он извел священника, которого мы позвали ради спасения его души. Чего только не делала жена Педро! Она даже погги подпалила мужу, чтобы обратить его в истинную веру. Ничто не помогло. Мошенник упорствовал до конца, да так и подох язычником. Теперь он превратился в сову и подыхает в этом густом лесу! Только священник может помочь ему, если вдова решится заказать панихиду... Бедняга Педро...

Я ничего не ответил на этот урок метампсихоза, преподанный глухой почью в чаще экваториального леса. Мы обогнули объятые пожаром заросли и оказались у цели. Крытые рафней и беленные известью хижины М'фула окружали загаженный животными двор, как и во всех деревнях, через которые мы прошли. Очертания аб¹ выступили из темноты. В хижине царило необычное оживление. Мы вошли.

Умирающий лежал на бамбуковой постели, глаза его дико блуждали, он весь скорчился и был похож на огромную антилопу. Рубашка его была в крови.

— От такой вопи заболеть можно, — сказал кто-то.

Я никогда не видел агонии. Лежащий передо мной человек тяжело страдал, и все же лицо его не было преображено потусторонним светом. Мне показалось, что ему,

¹ Аб^а — хижина для собраний. (Прим. автора.)

пожалуй, еще достанет сил отказаться от великого путешествия.

Он закашлялся. На губах выступила кровь. Сопровождавший нас мальчик поставил возле умирающего лампу. Тот сделал нечеловеческое усилие, чтобы загородить рукой глаза. Я отодвинул лампу и прикрыл фитиль. Человек был молод. Я наклонился, чтобы спросить, не нужно ли ему чего-нибудь. Человек повернул ко мне голову. Разглядывая меня, он, казалось, выходил из бессознательного состояния, в котором мы его нашли. Он слабо улыбнулся и опять кашлянул. Протянул дрожащую руку и погладил мои колени.

— Француз, француз... — сказал он прерывающимся голосом. — Верно, из Камеруна?

Я утвердительно кивнул.

— Я сразу понял... Я признал тебя, брат мой, по физиономии. Арк¹, дайте арк...

Какая-то женщина наполнила стакан водкой, пахнувшей дымом. Я выпил содержимое ему в рот. Он был не дурак выпить! Несмотря на страдание, он подмигнул мне. Казалось, к больному вернулись силы. Даже не попросив помощи, он стал приподниматься на локте. Я обхватил его за плечи и пододвинул к стене, к которой он привалился. Его тусклый взгляд вдруг ожил и остановился на мне.

— Брат мой, — заговорил он, — брат мой, что мы такое? Что мы представляем собой, негры, которых называют французами?

В словах его звучала горечь.

По молодости лет и свойственной мне беззаботности,

¹ Арк^а — водка из манса и бананов. (Прим. автора.)



я никогда не задумывался над этим вопросом. Я показал себе круглым дураком.

— Видишь ли, брат, мне... мне крышка...— продолжал он.— Они разделались со мной...— Он указал на свое плечо.— И все же я рад, что подыхаю вдаль от них... Мать всегда говорила, что любовь к сладостям далеко меня заведет. Мог ли я думать, что она приведет меня на кладбище?.. Бедная мама была права.

Он мучительно икнул, склонил голову на плечо, откашлялся.

— Я из Камеруна, брат мой. Я мака...¹ Я долго бы прожил, если бы благоразумно остался в деревне...

Он погрузился в раздумье, которое было прервано приступом кашля. Затем дыхание его стало ровнее. Я помог ему вытянуться. Умирающий положил на грудь исхудавшие руки, скрестил их. Он забыл о нашем присутствии, созерцая почерневший от сажи потолок. Я поправил фитиль, так как лампа мигала и гасла. Свет озарил край бамбуковой постели, где умирал человек. Его тень легла на потрескавшуюся стену, по которой бегали два паука. Их непомерно разросшиеся тени походили на двух спрутов, а щупальца тянулись, словно ветви плакучей ивы, к обезьяноподобной тени от головы умирающего.

Начались судороги, и вскоре он испустил дух. Припелыда похоронили ночью: ждать утра было невозможно. Он стал разлагаться до того, как превратился в труп.

Я узнал, что его пашли без чувств у границы, на испанской стороне. Мне передали брезентовую сумку.

¹ Мака — группа народов, обитающих во внутренних областях Камеруна и соседних государств (включает народности мака, пджем, со, нгумба, бакволе и др.); основное занятие — охота, тропическое земледелие.

— Он был ученым,— пресерьезно сказал подобранный его человек.

Я открыл сумку. В ней оказались две заскорузлые тетради, зубная щетка, огрызок карандаша и большой гребень из черного дерева.

Так я познакомился с дневником Тупди. Он был написан на эвондо — языке, наиболее распространенном в Камеруне. В переводе, предлагаемом вниманию читателей, я постарался передать красочность подлинника, не погрешив против точности повествования.





**дневник тунди
тетрадь первая**



Август



еперь, когда преподобный отец Жильбер сказал, что я научился бегло читать и писать, я стану, как и он, вести дневник.

Не знаю, какое удовольствие доставляет это занятие белых, но все же попробуем.

Я заглянул в дневник моего господина и благодетеля, пока он исповедовал прихожан. Это настоящая сокровищница воспоминаний. Белые все умеют сохранять... Я нашел там упоминание о том пинке, который получил от отца Жильбера, когда он заметил, что я передразниваю его в ризнице. Я снова почувствовал жжение в спине. А мне-то казалось, что я позабыл об этом...

Меня зовут Тунди Ондуга. Я сын Тунди и Замы. При крещении отец Жильбер дал мне имя Жозеф. Я мама по матери и иджем по отцу. Мои предки были людоедами. С тех пор как пришли белые, мы поняли, что люди не животные.

В деревне болтают, будто я был причиной смерти отца, потому что убежал к белому священнику накануне своего посвящения, когда мне предстояло познакомиться с прославленной змеей, оберегающей всех людей моего племени. А отец Жильбер думает, что меня привел к нему святой дух. По правде сказать, я пришел к нему, чтобы лучше разглядеть белого человека с волосами цвета маиса, который одет наподобие женщины и раздает черным ребятишкам вкусные сладкие кубки. Вместе с другими юными язычниками я по пятам следовал за миссионером, когда тот ходил из хижины в хижину, проповедуя новую веру. Он знал несколько слов на нашем языке, но проносил их так плохо, что придавал им непристойный смысл. Это всех забавляло и обеспечивало ему известный успех. Он бросал нам маленькие сладкие кубки, как бросают зерно курам. Из-за этих восхитительных белых куточков начиналась настоящая свалка; мы добывали их ценой ободранных коленей, подбитых глаз и кровоточащих ссадин. Порой в потасовке принимали участие и наши родители. Однажды мама подралась с матерью товарища моих детских игр Тинати: он вывернул мне руку, чтобы отнять два куса сахара, из-за которых мне уже расквасили нос. Эта драка чуть было не закончилась смертоубийством, так как соседи бросились на отца, чтобы помешать ему раскроить череп отцу Тинати, а тот, со своей стороны, обещал проткнуть живот папы ударом дротика. Когда ро-

дителей утпхомирлип, отец, вооружившись плетью, зло посмотрел на меня и велел идти вместе с ним за нашу хижину.

— Это ты во всем виноват, Тунди! Твоя любовь к лакомствам погубит тебя! Неужто тебя не кормят дома! Как мог ты накануне посвящения перейти ручей и выпрашивать куски сахара у белого человека в юбке, которого ты даже не знаешь!

Зато отца-то я хорошо знал! Он умел владеть плетью. Когда он пазбивал мать или меня, мы не могли оправиться после этого целую неделю. Я держался на почтительном расстоянии от плети. Он со свистом замахнул ею и сделал шаг ко мне. Я стал пятиться.

— Остановись! Я уже не так прыток, чтобы бегать за тобой... Ты ведь знаешь, я буду ждать сто лет, но свое ты получишь. Подойди ж ко мне, и мы живо покончим с этим!

— Я ничего не сделал дурного, отец, меня не за что бить...— запротестовал я.

— Ааааа!..— завопил он.— Ты смеешь говорить, что не виноват? Если бы ты не был таким сластоной, если бы в твоих жилах не текла кровь матери, кровь сластен, ты не пошел бы в Фиа и не стал бы хватать, как крыса, сласти, что раздает этот проклятый белый! Тебе не вывернули бы руку, мать не стала бы драться, и мне не захотелось бы проломить череп отцу Тинати... Советую тебе остановиться!.. Если ты сделаешь еще хоть шаг, я приму это за оскорбление и подумаю, что ты спишь со своей матерью...

Я остановился. Он набросился на меня и со свистом ударил плетью по моим голым плечам. Я стал извиняться, как червь на солище.

— Повернись и подними руки! Не хочу выбить тебе глаз.

— Прости, отец! Я больше никогда не буду... — взмолился я.

— Ты всегда так говоришь, когда я начинаю бить тебя. Но сегодня я буду тебя бить до тех пор, пока с меня не сойдет злость...

Я не мог кричать, так как на крики сбежались бы соседи, а товарищи обозвали бы меня девчонкой и исключили бы из нашей группы «Юношей-которые-скоро-станут-мужчинами». Отец опять взмахнул плетью, но я успел увернуться.

— Если ты опять увернешься, значит, ты способен на все, даже спать со своей бабушкой, моей матерью!

Отец вечно прибегал к этому шантажу, чтобы я покорно подставлял спину под его удары.

— Я не оскорблял тебя, я не могу спать ни с мамой, ни с бабушкой! И я не хочу быть битым, вот и все!

— Как ты смеешь так разговаривать со мной! Ты капля моей крови и повышаешь голос! Стой, или я тебя прокляну!

Отец задыхался. Я никогда не видел его в такой ярости... Я продолжал пятиться. Он преследовал меня по задворкам еще добрую сотню метров.

— Хорошо! — буркнул он. — Посмотрим, где ты проведешь ночь! Я скажу твоей матери, что ты нас оскорбил. Попробуй только вернуться в хижину.

С этими словами он повернулся ко мне спиной. Я не знал, где искать пристанище. Я мог бы пойти к дяде, но не любил его, потому что он был весь в чесотке. От них с женой вечно несло тухлой рыбой. Мне претило входить в их лачугу. Стемнело. Появились то вспыхивающие, то гаснущие огни светлячков. Удары пестов предвещали

блзкий ужип. Я тихонько обошел нашу хпжину и прильнул к щели в глинобитной стене. Отец сидел ко мне спиной. Отвратительный дядя поместился против него. Они ели... У меня слюнки потекли от благоухания дикобраза, которого мы нашли в ловушке отца наполовину съеденным муравьями, так как он попался два дня назад. Мать славилась в деревне своим умением готовить дикобраза...

— Это первый дикобраз в сезоне! — сказал дядя, набив себе рот.

Не говоря ни слова, отец указал пальцем на стену над своей головой. Он вешал там черепа всех пойманных им животных.

— Ешьте все, до крошки, — сказала мать, — долю Тунди я оставила в котле.

Отец вскочил с места, и по его прерывающемуся голосу я понял, что дело будет жаркое.

— Сейчас же принеси долю Тунди, — крикнул отец. — Он не попробует дикобраза. Это научит его слушаться.

— Знаешь, он ничего не ел с утра. Что ж он будет есть, когда вернется?

— Ничего, — отрезал отец.

— Если вы хотите, чтобы он слушался, — добавил дядя, — лишайте его пищи... А дикобраз знатный...

Мать вышла и принесла котел. Я увидел, как отец и дядя запустили в него руки. Затем я услышал плач матери. Впервые в жизни мне захотелось убить отца.

Я вернулся в Фиа и... долго простоял в нерешительности, прежде чем постучался в хпжину белого священника. Я застал его за едой. Мой приход удивил его. Я объяснил ему жестами, что хочу уехать вместе с ним. Он засмеялся, выставив напоказ все зубы, отчего рот его упо-

добился полумесяцу. Я неподвижно стоял у двери. Он позвал меня. Он отдал мне остатки ужина, который показался мне странным и восхитительным. Мы продолжали разговаривать жестами. Я понял, что он согласен взять меня с собой.

Так я стал боем преподобного отца Жильбера.

На следующий день новость дошла до отца. Я боялся его гнева... Я объяснил это священнику, по-прежнему прибегая к жестам. Мой страх развеселил его. Он дружески похлопал меня по плечу. Теперь я был под защитой.

Отец пришел после обеда. Он сказал только, что я был и остался его сыном, то есть каплей его крови... что он не сердится на меня и все будет позабыто, если я вернусь домой. Я знал, что означают эти прекрасные речи в присутствии белого. Я показал отцу язык. Он зло посмотрел на меня, как смотрел всякий раз, когда собирался «научить меня жить». Но с отцом Жильбером я ничего не боялся. Его взгляд, казалось, имел колдовскую силу; отец опустил голову и ушел, понурившись.

Мать пришла ночью повидаться со мной. Она плакала. Мы плакали вместе. Она сказала, что я правильно сделал, покинув родительский кров, что отец не любил меня так, как отец должен любить сына, что она благословляет меня и что, если я когда-нибудь заболею, надо будет искупаться в реке и это меня вылечит...

Отец Жильбер дал мне штаны защитного цвета и красную фуфайку, которые привели в восторг всех окрестных мальчишек, и те стали просить священника, чтобы он тоже взял их с собой.

Два дня спустя отец Жильбер усадил меня на свой мотоцикл. Треск мотора вызывал страшную панику в дерев-

пях, через которые мы проезжали. Служебная поездка продолжалась уже две недели. Мы направились теперь к католической миссии Святого Петра в Дангане.

Я был счастлив. Быстрота езды опьяняла меня. Скоро я увижу город, узнаю белых и буду жить, как они. Я невольно сравнил себя с красными попугаями, которых мы ловили в деревне на зерна маиса: они тоже попадались в плен из-за своей жадности. Мать часто говорила мне, смеясь: «Тунди, твоя любовь к сладостям далеко тебя заведет...»

Мои родители умерли. Я не вернулся больше в родную деревню.

* * *

Теперь я живу в данганской католической миссии Святого Петра. Мне приходится вставать в пять часов, а иногда и раньше, особенно в те дни, когда в миссии собираются все наши священники. Я звоню в колокольчик, висящий у входа в ризницу, затем ожидаю прихода настоятеля. Я прислуживаю порой на трех-четыре мессах в день. Кожа на моих коленях стала твердой, как у крокодила. Когда я опускаюсь на колени, мне кажется, что подо мной лежит подушка.

Больше всего мне нравится раздача святого причастия по воскресеньям. Верующие подходят к алтарю с закрытыми глазами, открытым ртом и высунутым языком, можно подумать, что они гримасничают. У белых имеется особый алтарь. У них плохие зубы. Мне нравится ласкать подбородок белых девушек диском, который я подношу им, в то время как священник кладет им на язык облатку. Научил меня этому бой одного из наших священников. Мы можем ласкать их только так...

Старая женщина, живущая в сиксе¹, готовит нам еду. Но мы предпочитаем остатки от обеда священников. Там попадаются даже куски мяса.

* * *

Я обязан решительно всем отцу Жильберу. Я очень люблю его, моего благодетеля. Он веселый человек; когда я был маленьким, он смотрел на меня как на домашнего зверька. Он любил таскать меня за уши и очень забавлялся, видя, что я всему дивлюсь.

Он показывает меня всем белым, приходящим в миссию, как свое творение. Я его собственной бой, бой, который умеет читать, писать, прислуживать во время обедни, накрывать на стол, убирать комнату, стелить постель... Я не получаю денег. Время от времени священник дарит мне старую рубашку или старые штаны. Отец Жильбер знал меня голым, как червь, он научил меня читать и писать... Ничто не сравнится с этим благодеянием, хотя теперь я и понимаю, что значит быть плохо одетым.

* * *

Сегодня из джунглей вернулся отец Вандермейер. Он привез с собой пять женщин, по-видимому христианок, которых он отнял у мужей-многоженцев. В сиксе появилось пять новых обитательниц. Если бы они знали, как много работы их ожидает здесь, они остались бы со своими мужьями!

¹ Сикса — нечто вроде интерната для будущих христианок, молодых замужних и незамужних женщин, а также для христианок, покинувших языческую семью. (Прим. автора.)

Отец Вандермейер — помощник отца Жильбера. У него самый красивый голос во всей миссии. Это он служит мессу по большим праздникам. И все же отец Вандермейер — какой-то странный... Он не допускает, чтобы кто-нибудь другой собирал пожертвования в те дни, когда не он служит праздничную мессу. Однажды я сделал это вместо него, и что же? Он позвал меня к себе в спальню, раздел догола и обыскал. А затем представил ко мне на целый день законоучителя, чтобы проверить, не проглотил ли я ненароком монету...

Он следит за нравственностью слуг и прихожан. Но ему ни разу не удалось в чем-либо улучшить меня. Да я и не стерпел бы того, что он делает со своими духовными детьми. У него пристрастие бить неверных жен, разумеется, негритянок... Он велит им раздеться у себя в кабинете, приговаривая на плохом местном наречии: «Когда ты грешила, тебе не стыдно было перед господом?» В воскресные дни, после мессы, для прихожан, которых исповедует отец Вандермейер, наступают страшные минуты...

* * *

Я видел очень красивую девушку во время причащения негров. Я погладил ей подбородок диском, как мы это всегда делаем с девушками-причастницами, особенно с белыми. Она открыла один глаз и тотчас же его закрыла. Она непременно должна прийти еще раз...

* * *

У отца Вандермейера был приступ болотной лихорадки. Всю ночь он выкрикивал непристойности. Отец Жильбер запретил нам торчать возле его спальни...

Мой отец, мой благодетель, преподобный отец Жильбер умер. Его нашли в крови под обломками мотоцикла. Он был раздавлен суком гигантского бавольника, прозванного в народе «дробителем белых». Рассказывают, что два грека уже подверглись участи отца Жильбера. В тихую, безветренную погоду от бавольника отделился сук и, как гигантская дубина, обрушился на машину греков, когда она проезжала под деревом. Среди груды металла обнаружили лишь два бесформенных трупа в белом полотне. Тогдашний комендант сказал, что надо бы срубить бавольник. После похорон греков об этом позабыли до сегодняшнего дня...

По четвергам отец Жильбер сам привозил почту для миссии из Дангана. Как он радовался при мысли, что получит письмо от своих!.. Едва мы кончали богослужение, он бежал в гараж и, запыхавшись, выводил оттуда мотоцикл. Тут он звал меня, чтобы я держал машину, пока он подворачивает сутану, открывая волосатые ноги и шорты защитного цвета. Когда все было готово, он тяжело опустился на сиденье и приказывал мне толкать мотоцикл до тех пор, пока треск мотора не становился равномерным. Он исчезал с бешеной скоростью в облаке дыма и пыли, оставляя за собой запах бензина, от которого меня всегда тошнило.

В это утро мотор никак не хотел заводиться. Отец Жильбер несколько раз слезал с машины и ковырялся в ней. Я был весь в поту, так долго мне пришлось толкать ее. Он бранился, неистовствовал, обзывал мотоцикл всевозможными словами. Никогда я не видел его таким раздраженным. Подскочив два-три раза, мотоцикл с оглушительным треском понесся прочь, и я различил сквозь

дым склоненную, словно безногую, фигуру моего благодетеля... Кто бы мог подумать, что это последний образ отца Жильбера, который сохранится в моей памяти?

Было около десяти часов утра, когда глава законоучителей, тот самый, которого как-то приставил ко мне отец Вандермейер, с воплями стал сотрясать калитку перед домом священников. Затем он принялся кататься по земле, крича: «Отец... отец...» Отец Вандермейер выбежал на крыльцо и стал осыпать законоучителя бранью, на которую он такой мастер. Я подумал, что Мартен пьян. Говорят, он катается у себя в хижине всякий раз, как напьется. Отец Вандермейер, ругаясь, открыл калитку и схватил Мартена за шиворот.

— Отец... отец... умер... — пробормотал Мартен. — Умер... в... в...

Отец Вандермейер не дал ему договорить. Он пихнул его ногой и указал пальцем на дорогу, ведущую в туземный квартал, где живут все работающие в миссии.

— Проваливай, болван! Отправляйся пьянствовать домой! — негодовал отец Вандермейер, толкая его в спину.

Тут в церковный двор въехала санитарная машина, сопровождаемая всеми данганскими автомобилями. Кровь отлила у меня от сердца, колени подогнулись...

Нет, быть этого не может, чтобы отец Жильбер умер...

Я бросился к санитарной машине, к носилкам. На них лежал, вытянувшись, человек, который был всем для меня. Я наткнулся на двух белых — одного с длинной шеей и другого, похожего на медно-красную гору; они отогнали меня — первый, замахнувшись плотью, с которой он, видимо, никогда не растает, второй, подняв ногу для пинка...

Вся католическая миссия Святого Петра была в сборе. Женщины из сиксы оттеснили престарелых законоучителей и плакали навзрыд, столпившись возле белых. Здесь

были все, кто хотел выказать свою привязанность к покойному отцу Жильберу: разучившиеся плакать крестьяне, которые гримасничали, чтобы выдавить слезы; тупые законоучители, вяло перебивавшие четки; мистически настроенные новообращенные, рассчитывавшие, быть может, на чудо; рабочие, стоявшие с несчастным видом, в надежде, что отец Вандермейер сжалится и не сочтет этого дня за прогул. Пришли также те, кто никогда не видел трупа белого человека и, главное, белого священника; этих людей было особенно много. Негры визжали, окружив белых. Белый человек с длинной шеей что-то сказал одному из стражников, сидевших в машине. Стражник сделал десять шагов по направлению к толпе, которая нехотя попятилась. Двое санитаров перенесли тело отца Жильбера в спальню. Белые последовали за ними. Отец Вандермейер провел их в гостиную. Он тут же вернулся, сошел с лестницы и обратился к толпе.

— Наш отец, наш возлюбленный отец умер, — проговорил он, сжимая руки. — Помолитесь, братья, помолитесь за него, ибо бог справедлив и каждому воздаст по заслугам...

Он провел рукой по волосам и перешел к распоряжениям:

— Ступайте в церковь... Помолитесь, братья. Помолитесь за него, помолитесь за нашего отца, он будет поконяться здесь, в миссии, среди вас всех, которых он так любил...

Он провел рукой по глазам. Крики возобновились с удвоенной силой.

— Господь бог справедлив, — продолжал отец Вандермейер. — Он вечен. Да будет воля его...

Он перекрестился, и толпа последовала его примеру. Он поднялся по лестнице. На последней ступеньке он опустил руки и погладил свою сутану.

Глава законоучителей Мартен плакал рядом со мной. Не знаю, почему он стоял здесь, вместо того чтобы руководить молитвой своих сотоварищей. Он расстегнул старую куртку, и слезы струились по его морщинистому животу, стекая в завязанную узлом набедренную повязку.

— Мне остается только уйти, — бормотал он. — Мне остается только умереть... Я знал, что кто-то умрет; шимпанзе кричали всю ночь... Мне остается только уйти, мне остается только умереть...

Толпа хлынула в церковь. Белые ушли. Остался лишь один белый, чтобы наблюдать за работой столяров, которые спустились во двор с досками и листовым железом. Примкнув к ружьям штыки, двое стражников ходили взад и вперед по веранде перед комнатой, где покоилось тело.

Похороны состоятся завтра в четыре часа. Стражники дважды прогоняли меня. Отец Вандермейер ничего не сказал.

* * *

После похорон

Моего благодетеля похоронили в части кладбища, предназначенной для белых. Могила пресподобного отца Жильбера находится рядом с могилой девочки, которую Днамон прижил с любовницей, а потом удочерил... Отец Вандермейер сам отслужил панихиду. Все данганские белые были в церкви, даже члены протестантской миссии США.

Только теперь я по-настоящему понимаю, что отец Жильбер умер. Со вчерашнего дня я не слышу его голоса. Католическая миссия в трауре... Для меня это больше, чем траур, — я сам как бы умер...

Я вновь увидел на похоронах мою прекрасную прищипанную. Она опять закрыла глаз. Она дура...

* * *

Новому коменданту нужен бой. Отец Вандермейер велел мне завтра же явиться в резиденцию. Я рад этому, так как со смертью отца Жильбера жить в миссии мне стало невозможно. Да и отец Вандермейер избавится от большой обузы...

Я буду боем у вождя белых: собака короля — король собак.

Я уйду из миссии сегодня вечером. Я буду жить у моего зятя в туземном квартале. Для меня начинается новая жизнь.

Господи, да будет воля твоя...

* * *

Все уладилось! Комендант берет меня в услужение. Это произошло в полночь. Я кончил работу и собирался домой, в туземный квартал, когда комендант приказал мне идти за ним в кабинет. Я провел там страшные минуты.

Мой новый хозяин долго смотрел на меня и вдруг спросил, не вор ли я.

— Нет, господин комендант, — ответил я.

— А почему ты не воруюешь?

— Не хочу попасть в ад.

Комендант был, видимо, поражен моим ответом. Он недоверчиво покачал головой.

— Откуда ты взял это?

— Я христианин, господин комендант, — ответил я, вытаскивая образок святого Христофора, который ношу на груди.

— Значит, ты не воруюешь потому, что не хочешь попасть в ад?

— Да, господин комендант.

— Ну, а какой он, ад?

— Понятно, какой: огонь, змея и сатана с рогами... У меня есть картинка в молитвеннике... Хотите, покажу?..

Я собирался было вытащить молитвенник из заднего кармана, но комендант жестом остановил меня. С минуту он смотрел на меня сквозь дым, который пускал мне в лицо, потом сел. Я потупил голову. Я чувствовал его взгляд у себя на лбу. Он положил ногу на ногу, затем поставил их рядом. Указал мне на стул против себя. Он наклонился и взял меня за подбородок. Заглянул мне в глаза и сказал:

— Хорошо, хорошо, Жозеф, мы будем с тобой друзьями.

— Да, господин комендант, спасибо, господин комендант.

— Только не вздумай воровать, ведь я не стану ждать, пока ты пойдешь в ад... Это слишком долго...

— Да, господин комендант... Это... а где ад, господин комендант?

Я никогда не задумывался над этим вопросом. Мое недоумение очень позабавило хозяина. Он пожал плечами и откинулся на спинку кресла.

— Оказывается, ты даже не знаешь, где находится ад, в пламени которого боишься гореть?

— Это рядом с чистилищем, господин комендант... Это... ато... на небе.

Хозяин подавил смешок и, приняв серьезный вид, устремил на меня взгляд пантеры.

— Вот и прекрасно. Надеюсь, ты понял, почему я не стану ждать, пока «кроска Жозеф иззарится в аду».

Комендант говорил диковинным голосом, подражая говору туземных солдат. Он был очень смешон. Чтобы не

расхохотаться, я закашлялся. Он ничего не заметил и продолжал:

— Если ты обворуешь меня, я спущу с тебя шкуру.

— Ну конечно, господин, спустите, я ничего не сказал про это, потому что и так все понятно. Я...

— Ладно, ладно,— перебил меня комендант, явно потеряв терпение.

Он встал и принялся кружить вокруг меня.

— Ты мальчик опрятный,— сказал он, внимательно осматривая меня.— У тебя нет клещей, ты не болен чесоткой, шорты на тебе чистые...

Он отступил и снова смерил меня взглядом.

— Ты не глуп, святые отцы очень хвалили тебя. Я могу рассчитывать на маленького Жозефа, ведь так?

— Да, господин комендант,— ответил я, и глаза мои заблестели от удовольствия и гордости.

— Можешь идти. Приходить будешь каждый день в шесть утра. Понятно?

Выйдя на веранду, я почувствовал себя так, словно выдержал тяжелое сражение. На кончике моего носа выступил пот.

Хозяин коренаст. У него мускулистые ноги, похожие на ноги разносчика. Мы зовем таких людей «пень красного дерева», потому что красное дерево очень прочное, оно выдерживает любой ураган. Я не ураган, я тот, кто должен подчиняться.

* * *

В полдень я наблюдал за хозяином из окна кухни. Он поднимался по бесконечной лестнице резиденции. Видимо, это не утомляло его так, как утомляет повара пли меня. Силы белого, видимо, возрастали по мере подъема.

Из гостиной он властным голосом потребовал кружку

пива. Я бегом бросился исполнять приказание, п фуражка слетела с моей головы к его ногам. Глаза хозяина мгновенно сузились, как суживаются глаза кошки на солнце. Он топнул, и пол под его ногой зазвучал наподобие барабана. Я направился к холодильнику. Но хозяин пальцем указал мне на фуражку, валявшуюся у его ног. Я до смерти перепугался.

— Поднимешь фуражку или нет?

— Сию минуту, господин.

— Чего ждешь?

— Хочу подать вам пиво, господин комендант.

— Хорошо... можешь не торопиться,— проговорил он слащаво.

Я шагнул к нему и тут же отошел к холодильнику. Я чувствовал коменданта у себя за спиной, исходивший от него запах становился все сильнее.

— Подними фуражку!

Я нехотя повиновался. Комендант схватил меня за волосы, повернул лицом к себе и впился в меня взглядом.

— Я не людоед... Но не хочу тебя разочаровывать. На! Получай!

С этими словами он дал мне ногой пинка, от которого я свалился под стол. Комендант бьет сильнее незабвенного отца Жильбера. Казалось, он был весьма доволен своим подвигом. Просто на месте не мог усидеть. Затем он спросил меня безразличным тоном, соблаговолю ли я наконец подать ему пиво. Я улыбнулся через силу. Он перестал обращать на меня внимание. Когда я подал ему пиво, он положил руку мне на плечо.

— Будь мужчиной, Жозеф,— сказал он,— а главное, думай о том, что ты делаешь, ладно?

Я кончил работу в полночь. Я пожелал коменданту спокойной ночи.

Прошлой ночью в туземном квартале побывал полицейский комиссар Птичьа Глотка. Он обязан этим прозвищем своей длинной-предлинной шее, гибкой, как шея волкляка... Итак, Птичьа Глотка явился со своими людьми в наш квартал. Я ушел из резиденции в полночь. Дома все спали. Я лег, но уснуть не мог. Я закрыл глаза и стал ждать прихода сна. Настала минута, когда я уже не знал, дремлю я или бодрствую. Я услышал сквозь сон скрип тормозов. Хижиину озарил свет, словно во время полнолуния. Я встал и неслышно подошел к двери. На нее посыпались сильные удары.

— Откройте, откройте! — закричали голоса.

Я, крадучись, вернулся назад, чтобы предупредить зятя. К своему удивлению, я нашел его на ногах.

— Это Птичьа Глотка со своими людьми, — прошептал я ему на ухо.

Мы пошли открыть дверь, на которой срывали нетерпение непрошенные гости. Дверь подалась прежде, нежели я успел ее отворить. Предшествуемый четырьмя стражниками-феллатами, Птичьа Глотка ворвался в мою каморку. Я спрятался за дверью, а зять и сестра, полумертвые от страха, смотрели, как Птичьа Глотка и его люди переворачивали вверх дном наш убогий скарб. Они опрокинули старую кашистру, и вода из нее пролилась на мою циновку. Птичьа Глотка наподдал ногой глиняный кувшин, который разбился вдребезги. Он велел одному из стражников порыться в куче бананов. Оторвал от связки банан и с жадностью принялся есть его. Я испугался за сестру — она так и впилась глазами в огромный кадык белого. Кадык то раздувался, то съеживался, как жаба, пока Птичьа Глотка пожирал банан. Он бросил кожу,

дважды повернулся на каблуках, затем ткнул в нашу сторону пальцем. Стражник с красными нашивками вытащил меня из-за двери и толкнул к начальнику. Птичья Глотка навел прямо на меня мощный электрический фонарь. Я часто замигал и невольно откинул голову.

— Твой имя? — спросил чернокожий с нашивками, служивший также переводчиком.

— Тунди.

— Тунди? А дальше как? — спросил полицейский комиссар.

— Тунди-Йозеф, бой коменданта.

Птичья Глотка сдвинул брови. Чернокожий сержант подтвердил мои слова:

— Чистая правда, сеп¹.

Белый повернулся ко мне спиной и направил сноп света в темноту, где прятались зять и сестра.

— Это моя сестра, а мужчина — ее муж...

— Чистая правда, сеп, — повторил чернокожий сержант.

— Хорошо, — сказал Птичья Глотка и гневно посмотрел на своего чернокожего коллегу. — Ладно, ладно, — пробормотал он, поочередно взглянув на нас.

Он оторвал еще один банан и стал его есть. Глаза сестры опять расширились, и я снова испугался. Птичья Глотка направился к двери, нагнул свою длинную шею и вышел. Звук моторов замер в отдалении, наступила тишина.

Негры убежали в лес. Оказывается, чернокожий сержант поднял на ноги весь квартал, засветив в ту минуту, когда машина остановилась у нашей хижины.

Во время вчерашней облавы Птичья Глотка никого не взял. Он ел бананы...

¹ Сеп — начальник, искаженное «шеф». (Прим. автора.)

Я проснулся с первым криком петуха. Когда я пришел в резиденцию, все еще спали, кроме часового, который ходил взад и вперед по веранде. Стражник узнал меня и подошел. Мы сели на ступеньку у входа, и он спросил, что я думаю о Глазе Пантеры. «Вот оно что,— подумал я,— видно, так прозвали коменданта...»

— Знаешь, старина! — воскликнул стражник. — Глаз Пантеры бить, больно бить, как Птичья Глотка! Он давать мне пинка ногой... С ним шутить плохо...

— Да,— ответил я,— мы во власти Пантеры...

Горн в военном лагере протрубил зорю — шесть часов. Я услышал оглушительный возглас: «Бой, душ!» Хозяин встает раньше, чем остальные белые. Приняв душ, он спросил, хорошо ли я спал.

— Хорошо, господин комендант,— ответил я.

— Правда?! — переспросил комендант, криво усмехнувшись.

— Да, господин комендант,— подтвердил я.

— Ты лжешь! — сказал он.

— Нет, не лгу.

— Лжешь! — повторил он.

— Не лгу, господин комендант.

— А вчерашняя облава?..

Он недоуменно пожал плечами, затем презрительно назвал меня «бедным малым». Он нехотя проглотил чашку кофе и обругал повара. В кофе было положено меньше сахара, чем обычно. Комендант обозвал нас, как всегда, «шайкой бездельников» и ушел, хлопнув дверью.

Сегодня суббота. Все данганские белые проводят этот день в Европейском клубе, принадлежащем г-ну Жанопулосу. Слуги освобождаются в полдень.

Вернувшись в туземный квартал, я встретил Софи, чернокожую любовницу инженера-агронома. Она, казалось, была в ярости.

— Ты недовольна тем, что свободна сегодня, Софи? — спросил я.

— Я круглая дура, — ответила она. — Впервые мой белый оставил ключи от супдука в кармане брюк, а я их не обшарила, пока он спал после обеда.

— Неужто ты хочешь помешать своему белому вернуться на родину?

— Плевать мне на его родину и на него самого. Обидно, что я не сумела разбогатеть с тех пор, как живу с этим необрезанным. И опять упустила сегодня удобный случай... У меня в голове не мозги, а труха...

— Так, значит, ты не любишь своего белого? Однако он самый красивый из всех белых в Дангане, знаешь...

Она посмотрела на меня, затем возразила:

— Право, ты говоришь так, словно ты вовсе не негр! Неужто не понимаешь, что белым кой-чего недостает, и мы не можем влюбиться в них?..

— Ну и что?

— Как что? Я жду... жду случая... И тогда Софи убежит в Испанскую Гвинею... Поверь, мы, негритянки, не идем в счет для них. К счастью, это взаимно. Только, видишь ли, мне надоело слышать: «Софи, не приходи сегодня, я жду к себе белого», «Софи, поди сюда, белый ушел», «Софи, когда ты встречаешь меня с белой госпожой, не смотри на меня, не клапайся мне», и т. д., и т. п.

Мы продолжали идти рядом, ничего не говоря. Каждый думал о своем.

— Я круглая дура, — повторила она, прощаясь со мной. Часов около пяти я вышел погулять и остановился у Европейского клуба. Там собралось много негров, глазевших, как веселятся белые.

Господин Жанопулос — организатор всех развлечений в Дангане. Он старшина белых, и мы теряемся в догадках относительно того, когда он сюда приехал. Рассказывают, что он один уцелел из небольшой группы авантюристов, которые были съедены на востоке страны перед первой мировой войной. Вместо того чтобы окончить жизнь в чьем-нибудь желудке, г-н Жанопулос очень возвысился... Теперь он самый богатый белый в Дангане. Г-н Жанопулос не любит негров. У него вошло в привычку натравливать на них своего огромного волкодава. Все пускаются наутек. Это забавляет дам.

Сегодня дамы получили большое удовольствие. Негров, пришедших посмотреть на белых, было особенно много. Мы теснились вокруг Европейского клуба, готовые разбежаться по зарослям эссонго, как только начнется излюбленная забава г-на Жанопулоса. Обычное бегство превратилось на этот раз в дикую панику. Дело в том, что присутствие в Европейском клубе нового коменданта удвоило число зевак. При первой же тревоге меня затолкали, смяли, опрокинули. Я чувствовал, что собака несется прямо на меня. Не знаю, как мне удалось вскочить и залезть на огромное манговое дерево, которое и послужило мне убежищем. Белые смеялись и показывали пальцем на верхушку дерева, где я прятался. Комендант смеялся вместе со всеми. Он не узнал меня. Да и как ему было меня узнать? Для белых все негры на одно лицо...

Придя сегодня утром в резиденцию я с удивлением заметил, что повар опередил меня. Я услышал хорошо знакомый кашель. Комендант принимал душ. Он заговорил со мной через приоткрытую дверь ванной. Велел принести какой-то флакон, стоявший у изголовья кровати. Я тут же вернулся и постучал в дверь. Комендант велел мне войти. Он стоял голый под душем. Я испытывал необъяснимое смущение.

— Принес наконец флакон или нет?

— ...

— Но... Что с тобой? — спросил он.

— Ничего... ничего... господин комендант, — отвечал я, чувствуя, что у меня перехватило дыхание.

Он подбежал и вырвал у меня флакон. Я вышел, пятясь, из ванной, а комендант неопределенно махнул рукой и пожал плечами.

«Нет, это невозможно, — думал я, — мне померещилось. Такой великий вождь, как комендант, не может быть необрезанным!»

Он предстал передо мной более голым, чем мои соплеменники, которые без зазрения совести моются в ручье, протекающем по рыночной площади. «Значит, — рассуждал я, — он такой же, как отец Жильбер, как отец Вапдермейер, как любовник Софи!»

Это открытие сняло с меня большую тяжесть. Оно что-то убило во мне... Теперь я больше не боюсь коменданта. Когда он послал меня за сандалиями, его голос прозвучал откуда-то издалека, и мне показалось, что я слышу его впервые. Мне было непонятно, почему я так трепетал прежде перед хозяином.

Мое спокойствие очень удивило его. Я не торопясь делал все, что он мне приказывал. Он бранился, как всегда, но я был невозмутим.

Я бесстрастно выдержал взгляд, от которого обычно терял самообладание.

— Ты совсем спятил! — бросил он.

Надо будет посмотреть в словаре, что это значит.

* * *

Один из заключенных принес в резиденцию две курицы и корзинку яиц. Видимо, это дар начальника тюрьмы, вернувшегося из служебной поездки. Белые всегда что-нибудь посылают коменданту по возвращении из джунглей. Данганский врач самый щедрый из всех.

Я отнес кур и яйца хозяину. Он выпил два яйца сырым. Меня затошнило, глядя на него. Я спросил, не желает ли он сырых яиц к завтраку. Он указал мне на дверь. Я все же вернулся, чтобы помочь ему надеть резиновые сапоги, так как шел дождь. В последний раз провер их тряпкой. Вставая, комендант наступил мне на уку. Я не закричал. Он не обернулся.

* * *

Сегодня утром я шел часть дороги с Ондиа, тем, кто не расстается со своим тамтамом. Он отбивает на нем часы. Инженер-агроном вывез его из деревни для этой работы и вручил ему огромный будильник, который тот повсюду таскает с собой на засаленном шейном платке. Непременная фляга с водкой висит, как сума, на его левом плече.

Я попросил объяснить, что он выстукивает в течение

двух лет, созывая по утрам рабочих. Он отрицательно покачал головой, затем нерешительно сказал:

Кеп... кеп... кеп... кеп...
Эй, довольно спать... Эй, довольно спать...
Он нас плетью бьет... Он нас плетью бьет...
Он на нас плюет... Он на всех плюет...
Мы пред ним — ничто...
Все пред ним — ничто...
Эй, довольно спать... Эй, довольно спать...

— Затем я отбиваю часы, — добавил он.

— А если инженер попросит объяснить, что ты выстукиваешь?

— Белому всегда легко соврать...

Ондуа — необыкновенный человек. У него нет возраста, у него нет жены. У него есть только огромный будильник и фляга с водкой. Никто не видел его пьяным на улице. Говорят, по ночам он оборачивается гориллой. Не хочу верить этим рассказам.

* * *

Я сопровождал коменданта к директору Данганской государственной школы, пригласившему его на аперитив. Я нес сверток, который хозяин собирался преподнести г-же Сальвен. Это поистине негритянский обычай принести что-нибудь людям, позвавшим вас в гости.

Школа находится в пяти минутах от резиденции. Мы отправились туда пешком. Я шел позади коменданта. Белье вечно торопятся. Комендант так бежал, словно учитель находился в смертельной опасности.

У Сальвенов стол был поставлен в тени дерева, вывезенного из Франции, — их предшественник посадил его во время церемонии открытия школы.

На г-же Сальвен было красное шелковое платье, облегающее ее толстый зад в форме червонного туза. Она уложила волосы восьмеркой и воткнула в них цветок ги-бискуса, такой же пунцовый, как ее платье. Она встретила коменданта и с улыбкой протянула ему обе руки. Он схватил их и поочередно прильнул к ним губами. Она подскочила, словно от прикосновения горячей головки, и заговорила так быстро и невнятно, что я не мог понять, французский ли это язык.

В окно выглянул господин Сальвен и, увидев коменданта, сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Этот человек худ, как коровы, виденные во сне фараоном¹. На нем были полотняные брюки и расстегнутая рубашка, открывавшая костлявую грудь. Жена представила ему коменданта. Я стоял на почтительном расстоянии от белых. Хозяин сделал мне знак, и я подал ему сверток. Он преподнес его г-же Сальвен, которая, по-видимому, очень смутилась. Она искоса взглянула на мужа. Стала протестовать, а руки ее так и тянулись к пакету. Она страстно взглянула на коменданта, который продолжал уговаривать ее, и рассыпалась в благодарностях.

Сальвены потащили коменданта к столу. Г-жа Сальвен села между мужчинами. Г-н Сальвен позвал своего боя, пожилого негра, очевидно, старейшего боя в Дангане. Тот принес две бутылки и, угодливо кланяясь, удалился. Сальвены тотчас же вступили в разговор, соревнуясь в многословии, остроумии и живости. В надежде на улыбку или

¹ Библейский миф об Иосифе, сыне Иакова и Рахилл. Он объявил вещий сон фараона египетского о семи тучных и семи тонких коровах, олицетворявших грядущие урожайные и неурожайные годы, и тем спас Египет от голода.

одобрение г-жа Сальвен попеременно наклонялась к обоим мужчинам.

— Проклятая дыра! — жаловалась г-жа Сальвен. — То дождь, то жарко, и даже нет парикмахера... Неприятностей здесь не оберешься!.. Как вам, должно быть, не хватает Парижа!

Комендант поднял брови и опорожнил стакан.

— Вы ничего не рассказывали о своей школе, — обратился он к г-ну Сальвену.

Господин Сальвен заерзал на стуле и потер руки.

— Я жду вас для инспекторского осмотра, — сказал он. — Я заканчиваю невиданный доселе педагогический эксперимент. Скоро пошлю отчет в Яунде. Когда я приехал сюда, школу переполняли ученики старше двадцати лет. Я всех их выгнал. Они ни черта не делали и в большинстве были больны гонорсеей. Девуцы, посещавшие школу, беременели от туземных наставников и учеников. Словом, бордель!.. Просматривая списки, я установил, что младшему ученику, получившему свидетельство об окончании школы, было семнадцать лет, а младшему ученику подготовительного класса — девять лет. Я исключил всех великовозрастных учеников, провалившихся на выпускном экзамене, и набрал для детского сада, не существовавшего здесь до меня, малышей от двух до шести лет. Негритянские дети такие же смывленные, как наши... Меня обозвали безумцем, демагогом... Так вот, в старшем классе теперь двадцать учеников двенадцати — пятнадцати лет.

— Это замечательно, — проговорил мой хозяин, — просто замечательно! Я непременно найду к вам на днях...

— Положение изменилось со времени последней войны. Но здесь этого не хотят понять.

— За исключением учеников Жака, негры не стоят

Инженер передал мне в дверцу походный мешок. Машина тронулась. Софи сидела рядом со мной на пустом деревянном ящике. Она покрылась набедренной повязкой. Видна была лишь толстая коса и гладкий лоб, перерезанный наподобие татуировки упавшей на него широкой прядью волос. Софи смотрела прямо перед собой, словно не видя деревьев, которые с головокругительной быстротой маршировали по обеим сторонам дороги. Ветер был холодный, и от него пахло американским табаком: в кабине курил инженер.

Вдруг нас подбросило вверх. Затем мы с грохотом упали на ящик. От таких толчков переворачивало все внутри.

— Черт! Чем они отличаются... Чем они отличаются от меня? Не понимаю, чем они отличаются от меня? — стонала Софи.

Город остался позади. Пикап мчался мимо первых деревьев. При виде маленького трехцветного флажка негры в ярких набедренных повязках удивленно воздевали руки. Иной раз толпа выходила из хижны-часовни, на веранде которой встал вместо колокола обломок рельса. Совсем голенькие девочки выбегали из приоткрытой двери и садились на корточки у дороги, возле ствола мелиссы. От резкого поворота мы чуть было не вылетели из машины.

— Боже мой! — воскликнула Софи. — Но чем же они отличаются от меня?

Она повернулась ко мне. Две крупные слезы катились у нее по щекам. Я дотронулся до ее руки. Она вытерла пос краем набедренной повязки.

— Если белые хорошо воспитаны лишь промеж себя, тогда черт с ними! Зад у меня такой же нежный, как у их дам, а ведь они усаживают их в кабину...

Софи снова засопела. Она закрыла глаза. Ее длинные влажные ресницы уподобились двум черным кисточкам.

Через заднее стекло кабины зеленые глаза инженера встретились с моим взглядом. Он тотчас же отвернулся.

Мы оставили позади себя район, обильно политый вчерашними дождями. Пикап трясся теперь по каким-то странным дорогам, не то тропинкам, не то просекам. Порой это была длинная вырубка с кучами щебня, свидетельствующими о начатых работах. Но буйная растительность уже пробивалась между камнями этого подобия шоссе. Плоды зонтичных пальм устилали землю. Непрестанное дрожание машины говорило, что мы едем теперь по болоту, через которое проложили дорогу из жердей и латерита, превратившегося в месиво, желтое, как разведенная охра. Пикап ржал, трещал, рычал и вылезал из этих вязких лощин, чтобы тут же вихрем вылететь на отвесные склоны. Сидя в кузове машины, мы словно участвовали в волнообразном танце, и головы наши раскачивались, как головы больных сонной болезнью. От толчка, подобного судороге, мы подпрыгнули и тут же больно ударились о ящик.

Софи больше не жаловалась. Она молчала. Слезы высохли, оставив на щеках два потека невообразимого цвета.

Становилось жарко. Пикап только что миновал огромный термитник, на котором кто-то неуклюже вывел каменноугольной смолой «60 км». Мы спускались по бесконечному склону, рискуя свернуть себе шею. Дорога стала ровнее. Тряска прекратилась, словно мы ехали по Дангану. Я увидел над головой свод сплетенных пальмовых ветвей. Мы приближались к месту назначения. Машина замедлила ход. Командант высунул голову. Он, видимо, восхищался чистотой, неожиданной среди джунглей, более чем в шестидесяти километрах от города. Не было больше рытвин, травы, навоза. В канавах исчезли кучи нечистот.

чтеннем молитвенника. Иногда она поднимала голову, чтобы посмотреть, чем заняты комендант и г-жа Сальвен. Когда доктор не поправлял галунов, он нетерпеливо ловил муху, кружившуюся над его багровыми ушами.

Разделенный надвое главный неф храма отведен неграм. Они сидят на бревнах вместо скамей под бдительным надзором законоучителей, готовых жестоко наказать их за малейшую рассеянность. Вооружившись плетью, эти служители божьи шагают взад и вперед по проходу, отделяющему мужчин от женщин.

Но вот появился отец Вандермейер, величественный в своем сверкающем облачении, предшествуемый четырьмя служками-неграми в красных одеждах. Зазвонил колокол. Началась обедня. Законоучители выбивались из сил — они руководили представлением, старательно ударяя ладонью по трембикам. Туземцы вставали, падали на колени, поднимались, садились — все это в такт глухим хлопкам. Мужчины и женщины умышленно поворачивались друг к другу спиной, чтобы не переглядываться. Законоучители ловили каждый их взгляд.

Между тем, воспользовавшись удобной минутой, Птичья Глотка пожимал руку своей соседке, а туфельки г-жи Сальвен незаметно приближались к башмакам коменданта.

Отец Вандермейер провозгласил наконец: «*Ite missa est*»¹. Белые встали и вышли через ризницу. Законоучители заперли дверь церкви, чтобы заставить негров слушать проповедь. Черный цербер, стоявший возле двери, выпустил меня только тогда, когда я сослался на свое звание боя коменданта. С высоты кафедры отец Вандермейер начал проповедь, отчаянно коверкая наш язык, что придавало его словам непристойный смысл.

¹ Ступайте, обедня окончена (лат.).

Данганские вожди явились поздравить моего хозяина с приездом. Акома прибыл первым.

Акома — вождь племени со. Он властвует над десятью тысячами подданных. Он единственный данганский вождь, побывавший во Франции. Он привез оттуда пять золотых колец, называемых у белых обручальными. Он носит их на левой руке. Он очень гордится своим прозвищем «Царя Колец». Когда его называют этим именем, он отвечает следующей притчей:

Акома — царь колец, царь женщин!
У белого одно кольцо,
Акома выше белых!
Акома — царь колец, царь женщин!

Затем он заставляет собеседника потрогать свои обручальные кольца.

Он прибыл в резиденцию вместе со свитой, состоящей из трех женщин, носильщика со стулом и зонтом, ксилофониста и двух телохранителей.

— Эй, сын собаки, — обратился он ко мне, — где твой хозяин?

Он отослал свиту и последовал за мной в гостиную. На нем был превосходный черный костюм, но он остался в носках, так как не мог носить кожаную обувь по такой жаре. При виде гостя мой хозяин встал и подошел к нему, протянув руку. Акома схватил ее и начал раскачиваться из стороны в сторону. На все вопросы коменданта он отвечал «да, да», кудахтая, как курица. Акома притворяется, будто понимает по-французски, но он ровно ничего не понимает. Говорят, что в Париже его выдавали за большого друга Франции.

Все было прибрано. Такая чистота казалась странной, очевидно, она была наведена совсем недавно.

Вдалеке раздалась звуки тамтама. Нарастал смутный гул. Нас явно ожидала торжественная встреча. Наконец показалась деревня. В ней царило необычное оживление. Человеческое море залило площадь. Слышались пронзительные крики женщин. Они кричали, приложив руку ко рту. Можно было подумать, что воеет сирена на американской лесопилльне в Дангане. Толпа расступилась, чтобы пропустить машину, которая остановилась под пальмой, недавно очищенной от ветвей, на макушке которой развеялся французский флаг.

Дверцы машины открыл согбенный старик с лицом морщинистым, как зад черепахи. Комендант пожал ему руку. Инженер сделал то же. Женщины принялись кричать еще пуще. Рослый детина в красной феске крикнул: «Тише!» На нем была лишь набедренная повязка, но феска свидетельствовала, что это телохранитель вождя.

Вождь носил доломан защитного цвета, к рукавам которого, очевидно наспех, прикрепили красные нашивки с серебряными галунами. Конец белой нитки свешивался с каждого рукава. Неопределенного возраста мужчина в пижамной куртке, падегой поверх набедренной повязки, крикнул: «Смирно!» Человек тридцать мальчуганов, которых я сперва не заметил, встали навтыяжку.

— Ша-а-гом, марш! — скомандовал наставник.

Ученики приблизились к коменданту. Наставник опять крикнул: «Смирно!» Дети, казалось, совсем обезумели. Они жалась друг к дружке, как дышлята, увидевшие тель грифа. Наставник дал тон и стал отбивать такт. Ученики зацели, не переводя духа, па каком-то языке, который не был ни французским, ни их родным. Местные жители при-

няли этот странный говор за французский, французы приняли его за туземное наречие. Все заплодировали.

Вождь пригласил белых в отведенную для них хижину. Пол был чисто выметен, стены, вымазанные белой глиной, еще хранили следы кисти. Крыша, недавно крытая рафией, приятно зеленела. Когда стоит жара, испытываешь настоящее блаженство, входя в такую хижину.

— Она восхитительна, эта соломенная хижина! — сказал комендант, обмахиваясь шлемом.

— Это глинобитная хижина, — поправил его инженер, — взгляните на стены. Впрочем, соломенные хижины встречаются теперь только у пигмеев.

Белые продолжили разговор на веранде, где вождь приказал поставить два шезлонга. Софи помогла мне разложить две складные кровати, которые мы привезли с собой. Мы натянули сетки от москитов. Когда все было готово, я спросил коменданта, нуждается ли он в моих услугах.

— Пока нет, — ответил он.

Софи слово в слово задала тот же вопрос инженеру.

Слово в слово она получила тот же ответ. Инженер пристально рассматривал кончик своего ботинка.

Телохранилитель вождя ожидал нас. Опахалом он отгонял мух от своих голых плеч. Он попросил нас следовать за ним.

— Вы будете спать в хижине моей второй жены, — сказал он самодовольно.

Это была лачуга, фасад которой побелили ради приезда коменданта. Никаких окон. Свет проникал через низкую дверь, освещая старый таз, в котором насадка высиживала цыплят.

— Вот хижина моей второй жены, — повторил страж-

ник, широко улыбаясь.— Речка и колодец на той стороне двора. А что до уборной, вы отсюда чувствуете запах...

— Всем известно, где гниет слон,— сухо ответила Софи.

— Вот именно,— сказал стражник уже за дверью.

Отойдя довольно далеко, он крикнул:

— Скоро вам пришлют все, что нужно, чтобы приготовить еду.

Софи щелкнула пальцами и провела рукой по губам¹. Затем она тряхнула головой, как бы говоря: «Надо набраться терпения». Мы вошли в хижину. Хотя на улице было светло, мы очутились во тьме.

Софи наклонилась над очагом. Она сложила головни и стала дуть на них. Наконец вспыхнул огонь. Пламя озарило грозди бананов, сложенные на бамбуковых полках. Я хотел было взять банан, но тут на меня напал безудержный смех.

— Что с тобой? — спросила Софи.

— Ничего... Ты не поймешь... Я вспомнил про Птичью лотку...

В деревне празднество было в полном разгаре. Белые мотрели на танцоров, исполнявших билабу². Однообразный танец вскоре надоел гостям. Наступил полдень. Они удалились в свою хижину. Я принес им продукты, привезенные из Давгана. После обеда они отослали чересчур шумных танцоров. Те ушли, притворяясь, будто очень огорчены. Несчастные были в пыли и поту.

После обеда вождь сам принес белым предназначенные им дары — кур, козу, корзину яиц и плоды папайи. Гости

¹ Жест удивления. (Прим. автора.)

² Би ла бу — танец, заключающийся в волнообразных движениях торса и бедер. (Прим. автора.)

пригласили его выпить виски. Видимо, вождь был очень горд тем, что сидит среди белых. Затем все отправились в хижины для собраний.

Вечером белые с ног валились от усталости после долгого пути и нескончаемых разговоров. Они почти не приронулись к ужину. Комендант растянулся поперек кровати. Я встал на колени, чтобы снять с него сапоги. С веранды доносился шепот инженера и Софи.

Я пожелал спокойной ночи коменданту. Не успел я переступить порог, как меня окликнул инженер, смаковавший виски. Стемнело. Я подошел к нему, руководствуясь красной точкой его сигареты.

— Ты ночуешь в той же хижине, что и Софи? — спросил он.

— Да, господин коменд... да, господин.

Он помолчал.

— Я пошлю ее в больницу, как только мы вернемся в Данган, я пошлю ее в больницу... — сказал он.

Он встал, затем добавил:

— Заботиться о Софи мне поручил ее отец... Впрочем, не знаю, зачем я говорю тебе все это! Софи я пошлю в больницу... А тебя всюду найду...

Он ущипнул меня за ухо.

— Ты от меня не уйдешь... А теперь ступай.

Он отпустил меня. В темноте я различал его белые руки, он отряхнул их, словно прикоснулся к чему-то нечистому.

Софи ждала меня во дворе. Мы молча дошли до хижины. Софи открыла дверь. Курица закудаhtала. Софи собрала головни и раздула их. Мерцающее пламя осветило комнату. Я растянулся на бамбуковой постели. Софи подошла к двери и затворила ее, затем растянулась на другой постели. Огонь в очаге мало-помалу погас. Комната

потонула во мраке. Софи повернулась на другой бок. Бамбук затрещал.

— Давно я не спала на бамбуковой постели,— сказала она.— Это напоминает мне детство... Давно я не спала рядом с соплеменником, в одной хижине,— продолжала она.

Софи зевнула.

— Можно подумать, что ты лишился языка.. Тебе не хочется разговаривать?

— Язык у меня устал...

— Какой ты странный... Право, я никогда не встречала такого мужчину! Ночуешь в одной хижине с женщиной... и говоришь, что у тебя язык устал! Если рассказать об этом, никто не поверит. Всякий скажет: «Верно, куп-куп¹ у него недостаточно острый, он и предпочел не вынимать его из ножен».

— Может быть,— ответил я, развеселившись.

— А если сказать, что ты сознался в этом, никто мне все равно не поверит... Знаешь, что дружок сказал мне на веранде?.. Ты спишь? — спросила она.

— Нет, слушаю,— ответил я.

— Дружок стал называть меня всякими вкусными именами. Он всегда так делает, когда ему хочется меня поцеловать или когда он стонет, наваливаясь на меня... Он говорит тогда «моя булочка», «моя козочка», «моя курочка»... Он сказал, что взял меня с собой, так как очень меня любит. Он не хотел оставлять меня одну в Дангане, чтобы я не скучала. Белый очень хитер. На самом деле он не хотел оставлять меня одну из-за старика Жанопулоса. Этот старый белый — ведь он годится мне в дедушки — предложил мне бросить инженера, потому что у того мало денег. Но мой дружок лучше этой старой жабы.

¹ Куп-куп — широкий пож.

Дружок сказал мне, что боится коменданта, своего пачальника, и не посмел признаться, что я его подружка. Вот почему он сказал, что я его кухарка-бой. Но мне плевать на все это. Неприятно только, что он сказал коменданту, будто я кухарка. Не понимаю, откуда он взял это. Скажи, Жозеф, разве я похожа на кухарку?

— Я не белый, не мне судить об этом, — заметил я.

— Право, ты не такой, как другие... А что тебе сказал мой дружок там, на веранде?

— Ничего... особенного. Велел мне оберегать тебя...

— Ох, уж эти мне белые! — воскликнула она. — Собака у них может подохнуть от голода рядом с хозяйским мясом! Козла закапывают не до рогов, его закапывают целиком...

Голос Софи все отдалялся. Мне показалось на мгновение, что я слышу его во сне. Я уснул.

* * *

Когда первая коза потерлась о стену нашей хижинки, я уже не спал. Свет пробивался сквозь крышу из рафии. С улицы доносился громкий топот козлов, преследовавших самок. Вдали раздался звон колокола или, точнее, звон куска рельса. Софи, повернувшись к степе, еще спала. Я встал и разбудил ее тумаками. Прежде чем окончательно проснуться, она несколько раз выругалась. Затем жалостно улыбнулась и пожелала мне доброго утра. Она стыдливо одернула набедренную повязку, прикрывавшую восхитительные ляжки.

Я отворил дверь. Козий запах проник в хижину вместе с утренней свежестью. Софи нагнала меня на веранде.

— Они, верно, спят, — сказала она. — Они здорово устали вчера вечером...

Мы дошли по улице до хижины белых. Оттуда доносился двухголосый храп. Один, высокий и редкий, напоминал кваканье лягушки.

— Это мой дружок, — сказала Софи.

Другой, хриплый, низкий, походил на стои.

— А это комендант — его храп мне незнаком, — добавила Софи.

Комендант велел разбудить его пораньше. Я несколько раз постучал в дверь.

— Кто там? — спросил инженер.

— Господин комендант приказал разбудить его, — ответил я.

— Хорошо, — пробурчал инженер.

Мы услышали резкий щелк ременной пряжки. Шаги приблизились к двери. Инженер открыл ее. От него пахло сырым мясом с какой-то непонятной примесью. Этот запах каждое утро встречал меня в резиденции. Белый протер глаза и пригладил волосы, спутанные, как лшапы в лесу. Он зевнул. Во рту у него блеснуло золото. Он засунул руки в карманы и попеременно оглядел нас. Покраснел до корней волос. Румянец до странности не вязался с его обычной болезненной бледностью. Устремив на меня взор, он, казалось, позабыл обо всем на свете. Его тонкие губы судорожно передернулись. Получилась неподражаемая гримаса, которая рассмешила бы даже вдову на похоронах ее второго мужа.

— Господин точь-в-точь похож на обезьяну! — сказала Софи, прыснув.

— Заткнись! — взревел инженер и топнул ногой.

Смех замер на губах у Софи. Я почувствовал, что по спине у меня пробежали мурашки.

— Кто там? — спросил комендант.

— Бои... — презрительно бросил инженер.

Он дважды повернулся на носках. Из красного его лицо стало зеленоватым, затем к нему вернулась обычная бледность.

— Сегодня утром мы возвращаемся в Данган,— сказал инженер елейным голосом.— Меня всю ночь лихорадило,— добавил он насмешливо.

— Укладывай вещи, Жозеф... Мы уезжаем,— крикнул комендант из глубины хижины.

* * *

Новость столь неожиданная, что похожа на шутку! Жена коменданта приезжает завтра в Яунде. Когда комендант развернул голубую бумажку, он сильно покраснел. Он прислонился к стене, словно его стукнули кулаком. Заговорил сам с собой, стал пести какую-то окоlesiцу. Из-за привычки белых постоянно краснеть никогда толком не знаешь, довольны они или нет. Повар, стражник и я были в недоумении.

Комендант позвал нас, чтобы сообщить поразительную новость. Мы обрадовались за него и не скрыли своей радости. Он очень удивился нашей бурной веселости, так как мы даже зааплодировали, потом усмехнулся и взглядом остановил нас.

Он приказал стражнику привести нескольких заключенных, чтобы те вымыли пол в резиденции. Нам он велел все привести в порядок. Он написал записку доктору, начальнику тюрьмы и Птичьей Глотке. Затем уехал в Яунде.

Понимаю теперь, почему комендант вел себя без госпожи не так, как остальные белые... ведь все они посылают боя разыскать им «подружку» в туземном квартале. Интересно знать, какая у коменданта жена. Такая ли она коренная, избалованная и добросердечная, как и он сам?

Мне хотелось бы, чтобы она была красива, красивее всех женщин, которые бывают в Европейском клубе. Жена короля всегда красивее всех женщин в королевстве...

* * *

Наконец она приехала. Боже мой, как она прекрасна, как обходительна! Я первый увидел ее. Я кончал подметать веранду, когда послышался шум подъезжающей машины. Я ничего не сказал повару. Я бросился со всех ног к дремавшему часовому. Смешно было видеть, как он встрепенулся и взял на караул без всякой на то надобности.

Хозяин вышел из машины. Я мигом отворил дверцу госпоже. Она улыбнулась мне. Я залюбовался ее зубами, такими же белыми — это очень редко у европейцев, — как зубы наших девушек. Сильная рука коменданта обвиняла ее муравьиною талию. Он сказал жене: «Это Тунди-Жозеф — наш бой». Она протянула мне руку. Ее маленькие, нежные, трепетные пальчики потонули, словно драгоценность, в моей огромной ладони. Госпожа вспыхнула. Комендант покраснел, в свою очередь. Я выгрузил чемоданы.

* * *

У моего счастья нет дня, у моего счастья нет ночи. Я не сознавал его, оно само открылось моему существу. Я буду петь о нем на флейте, буду петь на берегу ручья, но слова бессильны передать его. Я пожал руку моей королевы. Я почувствовал, что живу. Отныне рука моя священна, она не коснется нечистых частей моего тела. Рука принадлежит моей королеве с волосами цвета черного дерева, с глазами антилопы, с кожей розовой и белой, как слоновая кость. Дрожь пробежала по моему телу от при-

косновения к ее маленькой нежной ручке, которая вадрогнула, словно цветок, колеблемый ветром. От этого прикосновения моя жизнь смешалась с ее жизнью. Ее улыбка освежает, как вода источника. Ее взгляд ласкает, как луч заходящего солнца. Он все озаряет своим светом, пропикает до затаенных глубин сердца. Я боюсь... я боюсь самого себя...

* * *

Сегодня госпожа осматривала свои владения. На ней были черные брюки, которые подчеркивали ее тонкую талию. Она зашла сначала на кухню и похвалила повара за чистоту и, главное, за вкусно приготовленную курицу с рисом. Повар был на седьмом небе. Он сказал на ломаном языке, что тридцать лет занимается своим делом и «всегда был хорошая повара». Улыбка сбежала с лица госпожи, взор стал непроницаемым. «Отныне ты будешь класть в это блюдо меньше перца», — сказала она. Повар посмотрел на нее округлившимися от удивления глазами.

Мы отправились в загон для коз. Госпожа то и дело шептала: «Какие они хорошенькие! Какие прелестные!» И позволила козам лизать ей руки. Потом внимание ее привлекли розы и мальвы. Она опускалась на корточки перед каждым цветком и глубоко вдыхала его аромат. Я стоял по ту сторону клумбы, против госпожи. Она забыла о моем присутствии. Каким несчастным я чувствовал себя, более несчастным, чем после погребения предодобного отца Жильбера.

* * *

В первую же субботу по приезде госпожи Европейский клуб в Дангане опустел: белые собрались в резиденции. Госпожа, вся в белом, напоминала только что раслутив-

шийся цветок, вокруг которого вьются рой крылатых насекомых. Ее присутствие ощущалось во всем. Комедант сиял, и на его лице была написана самолюбивая гордость мужчины, жепившегося на красивой женщине. Он был так доволен и оживлен, что впервые обратился ко мне со словами: «Что скажешь, Жозеф?» Как может изменить сердце мужчины любовь и красота женщины!

Если мужчины были в восторге от госпожи, то женщины старались скрыть под вымученными улыбками горечь, которую они испытывали, видя, что оттеснены на задний план. Г-жа Сальвен уподобилась масляной лампе, выставленной на яркий солнечный свет. Спящая красота госпожи безжалостно выявила недостатки, допущенные господом богом (в этот вечер он был, верно, дьяволом для г-жи Сальвен!) при создании данганских дам, которыми мы любовались прежде. Жена доктора казалась плоской, как кусок теста, расплющенный о каменную стену. Толстые ноги супруги Птичьей Глотки, упрятанные в брюки, походили на клубни маниоки в банановых листьях. Барышни Дюбуа уподобились двум одинаковым тюкам. Жены греков, обычно столь болтливые, молчали. Об американках из протестантской миссии все позабыли бы, если бы не взрывы их смеха.

Зато в глазах мужчин госпожа была чудесным видением. Ухаживая за ней, они пренебрегали собственными женами, с которыми бывали так учтивы на улицах Дангана. Среди всех этих белых я напрасно искал того, кто мог бы удостоиться внимания госпожи. По своей глупости, я даже вадрогнул, заметив, что она украдкой поглядывает на инженера. Наши взгляды встретились над головой любовника Софи. Это продолжалось не дольше вспышки молнии. Госпожа отвернулась. Я смутился, как в тот день,

когда увидел под душем коменданта и понял, что он необрезаанный.

— Спшишь ты, что ли? — спросил меня данганский девинссктор, указывая на свой пустой стакан. — Вот дьявольщина, — продолжал он, — можно подумать, что у тебя сонная болезнь.

Глаза всех цветов уставились на меня.

— Жозеф! Эй, Жозеф! — крикнул комендант, стуча по столу зажигалкой.

Я открыл первую попавшуюся бутылку виски и наполнил стакан белого. Я остановился, лишь когда он закричал: «Довольно, довольно! Чтоб тебе!» Эти слова вызвали всеобщий смех.

— Друзоцек! — сказал Птичья Глотка, плохо подражая ломаному языку негров. — Мы, здешние жители, ничего не пьем!

Белые вновь захохотали.

— Знаете, эти люди страшно много пьют... — заявил Птичья Глотка, повернув к госпоже свою длинную шею и указывая на меня пальцем.

Все белые посмотрели на него. Он запнулся, пригладил волосы и продолжал:

— Однажды... однажды... когда я был в командпрвке... — Он почесал за ухом и густо покраснел. — Я спросил как-то вождя одного племени, чего он желал бы на Новый год. «Я хочу, чтобы в реках вместо воды тек коньяк!» — ответил он совершенно серьезно.

Доктор поправил свои галуны, опорожнил стакан и сказал:

— Поразительное дело — в больнице вечно не хватает спирта! Что я ни делаю, санитары ухитряются продавать на черном рынке (при этих словах белые прыснули со смеху) девяностоградусный спирт.

Госпожа Сальвен откашлялась как бы для того, чтобы придать себе смелости. Все головы повернулись к ней. До сих пор чета Сальвенов оставалась в полном забвении.

— По утрам до меня доходит с веранды запах спирта и грязи. И я уже знаю, что мой бой пришел...

Эта откровенность не имела ни малейшего успеха. Г-н Сальвен поднял глаза к небу. В зале воцарилось молчание. Г-н Жанопулос закашлялся, чтобы скрыть икоту. Белые сделали вид, будто ничего не заметили.

— Диковинная здесь страпа! — проговорила с сильным акцентом жена американского пастора.

— Да, это не Нью-Йорк-сити! — глупо заметила ее толстая подруга.

Остальные белые, казалось, ничего не поняли. Обе дамы засмеялись, словно были одни в зале.

— Здесь нет никакой нравственности, — сокрушенно проронала жена доктора.

— Так же, как и в Париже! — возразил учитель.

Эти слова были подобны электрическому разряду. Белые поочередно вздрогнули. Уши доктора налились кровью. Госпожа осталась безучастной, как, впрочем, и американки, — они явно ничего не слышали, ибо с увлечением перешептывались. У морильщика насекомых перехватило дыхание. Он резко повернулся к учителю.

— Что... что вы... вы... Что вы... хотите сказать? — запинаясь, спросил он.

Учитель скорчил презрительную мину и пожал плечами. Морильщик вскочил со стула и направился к нему. Учитель бесстрастно смотрел на него. Неужели данганский дезинсектор схватит противника за горло? Положение было критическим.

— Проклятие!.. Вы попросту демагог! — крикнул морильщик.

— Прошу вас, прошу вас, господин Фернан! — вмешался комендант.

Господин Фернан вернулся на место. Собрался сесть. Но не успел он опуститься в кресло, как подскочил, словно ужаленный скорпионом. Взмахнул руками, открыл рот, закрыл его и облизал губы.

— Вы предатель, предатель, господин Сальвен! — выпалил он наконец. — С тех пор как вы поселились в этой стране, вы ведете себя недостойно подлинного француза! Вы восстанавливаете туземцев против нас... Вы внушаете им, будто они такие же люди, как мы, а между тем негры и так слишком зазнались...

Господин Фернан сел. В знак одобрения Птичья Глотка кивнул головой. Несколько человек последовали его примеру. Госпожа не шелохнулась.

— Несчастливая Франция! — промолвил Птичья Глотка, сморкаясь.

Учитель пожал плечами. Госпожа подняла глаза к небу. Жена доктора что-то прошептала на ухо мужу, потом сложила руки, сделала приятное лицо и сказала ненаaturalным голосом, повернувшись к госпоже:

— Видели ли вы японский балет в театре Мариньи, дорогая?

— Нет, у меня не было времени. Я бегала по министерствам, чтобы приехать сюда ко дню рождения Робера...

Госпожа нежно взглянула на мужа, который погладил ее руку. Жена доктора вновь перешла в наступление. Сослалась на какую-то газету, похвалившую японский балет. Когда красноречие докторши иссякло, ее сменила одна из барышень Дюбуа. Она назвала каких-то белых, вероятно, музыкантов или людей, имеющих отношение к музыке. Пожалела, что ей не довелось побывать в Париже в на-

чале этой недели. Стала жаловаться, что теннисная площадка испортилась после первых же дождей... что в Дангане нет ни одного хорошего теннисиста. Г-жа Сальвен заговорила о лошадях. Она прокляла здешний лесной район, где негры не разводят лошадей из-за мухи цеце. Инженер предложил сделать опыт. Г-н Жаноулоос поспорил с комендантом о ценах на какао. Доктор выразил желание, чтобы ему прислали европейскую акушерку. Несколько веских слов сказал учитель. Он решил объяснить присутствующим поведение негров. В пику ему каждый рассказал достоверный случай в доказательство того, что негры либо дети, либо дураки...

Пожалели об отсутствии отца Вандермейера, этого святого, который жертвует жизнью ради неблагодарных дикарей. Вспомнили о «великомученике». Так белые называют теперь отца Жильбера, быть может потому, что умер он в Африке... Докторша со слезами в голосе обещала госпоже сводить ее на могилу священника.

Американки позабыли обо всех остальных: они беседовали на своем языке..»

Когда кто-нибудь опорожнял стакан, я опрометью бросался, чтобы наполнить его. И тотчас же возвращался на свое место между дверью и холодильником. Инженер сидел ко мне спиной. Госпожа и комендант сидели напротив. Госпожа ни разу не притронулась к спиртному. Гречанки болтали под шумок со своими мужьями. Смеялись они так же редко, как редко плачут собаки.

Разговор вновь перешел на негров.

— Несчастная Франция! — повторил Птичья Глотка. — Ведь негры занимают теперь министерские посты в Париже!

Куда идет республика? Каждый нашел нужным высказаться по этому поводу.

Господин Фернан первый поставил этот вопрос.

— Куда идет мир? — эхом отозвался Птичья Глотка.

И стал требовать переворота, который очистил бы воздух Франции. Заговорили о королях, о некоем Наполеоне. Все, видимо, очень удивились, когда госпожа сказала, что отчимом императрицы, которую она назвала Жозефиной, был негр.

Опять вернулись к неграм. Ох, уж эти негры! Не бороли еще желтой опасности, как появилась опасность черная. Что ждет цивилизацию?..

Дождевые капли застучали по рифленому железу кровли. Доктор и его жена поднялись первые. Остальные последовали их примеру. Белые шли нетвердо, словно ступали по банановым коркам. Комендант отвечал мычанием на все вопросы. Госпожа провожала гостей. Машины отъезжали одна за другой. Госпожа стояла на веранде, пока последний красный огонек не исчез в ночной тьме.

* * *

Я сопровождал госпожу на данганский рынок. Она желала сама сделать покупки. На ней были черные брюки, подчеркивавшие ее тонкую талию, и большая соломенная шляпа, привезенная из Парижа.

Рыночная площадь находилась в пятнадцати минутах ходьбы от резиденции. Она ограничена двумя сараями, в одном продают мясо, а в другом — рыбу. Ручей, загрязненный всевозможными отбросами, служит помойкой, а иногда и бассейном для купанья.

Рынок — самая оживленная площадь в Дангане, особенно в субботу утром; это место сбора обитателей туземного квартала и окрестных деревень. Мы отправились туда пешком. Я нес корзину для провизии. Госпожа шла

вперед, гибкая и грациозная, как газель. Мои соотечественники издали обнажали головы. Словно не обращаясь ко мне, они спрашивали на нашем языке, действительно ли это «Она». Я отвечал кивком головы.

— К счастью, я встретил ее до исповеди! — сказал один.

— Если бы эта женщина умастила благовониями голову Спасителя, священная история сложилась бы иначе... — прибавил другой.

— Истинная правда! — подтвердил третий.

Законоучители долго провожали нас взглядом. Какой-то юноша обогнал нас на велосипеде.

— Вот это женщина! — воскликнул он. — Всем женщинам женщина!

Комплименты сыпались со всех сторон. Поклонившись, мужчины застывали на месте.

— Посмотрите только на эти бедра! Какая талия! Какие волосы!

— Хоть бы одним глазком взглянуть, что скрыто под этими брюками! — вздыхал кто-то.

— Брат, ты небось сам не свой! — бросил мне какой-то здоровенный парень.

— Жаль, что все это достается необрезанным! — сказал другой с досадливой гримасой.

Восхищение женщин было безмолвным. Они лишь проводили ладонью по губам. Только одна из них нашла, что бедра белой госпожи недостаточно упруги...

Неизвестно, откуда вынырнул на великолепной американской машине г-н Жапопулос и предложил госпоже покатать ее. Она ответила, что хочет пройтись до Дангану пешком. Грек бросил на меня беглый взгляд. Госпожа покраснела. Машина понеслась дальше, как ураган.

На рынке толпа неизменно расступалась перед нами. Госпожа купила ананасов, апельсинов, несколько бананов. Она зашла в рыбный магазин. Она не краснела, когда какой-нибудь бесстыдный туземец справлял нужду прямо в ручей.

В десять часов мы двинулись обратно.

— Скажи, бой, что говорят прохожие? — внезапно спросила госпожа.

— Ничего... ничего, — смущенно ответил я.

— Как ничего? — настаивала госпожа, обернувшись ко мне. — Что означают все эти замечания прохожих?

— Люди... люди... находят вас очень... очень красивой, — сказал я, запинаясь.

Никогда не забуду взгляда госпожи в ту минуту, когда у меня вырвались эти слова. Ее глаза сузились, в них появилось какое-то странное выражение. Она сильно покраснела. Меня обдало жаром с головы до пят. Госпожа улыбнулась через силу.

— Очень мило с их стороны, — сказала она. — Нет нужды скрывать это от меня! Одного не понимаю: почему у тебя такой глупый вид!..

Больше она не проронила ни слова.

* * *

Госпожа качалась в гамаке, держа в руках книгу. Когда я подавал ей пить, она спросила:

— Скажи, бой, ты доволен работой в резиденции?

Ошарашенный вопросом, я застыл с открытым ртом.

— У тебя такой вид, словно ты работаешь из-под палки. Ну, конечно, мы довольны тобой. Ты безупречен... Всегда приходишь вовремя, добросовестно выполняешь работу... Только в тебе нет радости жизни, свойственной

всем туаемцам... Можно подумать, что ты служишь боем в ожидании чего-то лучшего, уж не знаю чего...

Госпожа говорила не переставая и смотрела прямо перед собой.

— Чем занимается твой отец? — спросила она, повернувшись ко мне.

— Он умер.

— О! Весьма сожалею...

— Вы очень добры, госпожа...

— А чем он занимался? — помолчав, продолжала она.

— Он ставил западни и ловил дикобразов.

— Скажите! Вот забавно! — воскликнула она, смеясь. — Ты тоже умеешь ловить дикобразов?

— Конечно, госпожа.

Она раскачала гамак, стряхнула пепел с сигареты и с наслаждением затаилась. Выпустила дым через рот и нос в разделяющее нас пространство. Соскребла кусочек папиросной бумаги, приставшей к нижней губе, и сдунула его по направлению ко мне.

— Вот видишь, — продолжала она, — ты уже служишь боем у коменданта...

Она одарила меня улыбкой, от которой задрожала верхняя губа, в то время как ее блестящие глаза пытались что-то прочесть на моем лице. В смущении она допила стакан и спросила:

— Ты женат?

— Нет, госпожа.

— Однако ты зарабатываешь достаточно, чтобы приобрести жену... Да и Робер сказал мне, что, как бой коменданта, ты считаешься завидным женихом... Тебе надо обзавестись семьей.

Она улыбнулась мне.

— Да, семьей, и даже многочисленной, а?

— Возможно, только жена моя и дети никогда не смогут есть и одеваться, как вы, госпожа, или как дети белых...

— Мой бедный друг, да у тебя мания величия! — воскликнула она, расхохотавшись. — Давай говорить серьезно, — продолжала она. — Ты ведь знаешь, что каждый должен довольствоваться своим положением. Ты бой, мой муж комендант... тут уж ничего не поделаешь. Ты христианин, да?

— Да, госпожа, более или менее.

— Как это более или менее?

— Не всамделишный христианин, госпожа. Христианин потому, что священник смочил мне голову водой и дал имя белых...

— Ты говоришь чудовищные вещи! Однако комендант уверял меня, что ты верующий человек.

— А то как же! Приходится верить тому, что рассказывают белые...

— Вот оно что!

У госпожи, очевидно, перехватпло дыхание.

— Значит, ты уже не веришь в бога?.. — продолжала она. — Ты опять стал... фетишистом?

— Река не течет вспять... Эта поговорка существует, верно, и на родине госпожи?

— Разаумеется... Все это очень интересно, — сказала она, видимо забавляясь. — А теперь ступай и приготовь мне душ. Как жарко, как жарко!

* * *

Никогда еще так долго не бодрствовали в туземном квартале, как в прошлую ночь. Негры расположились в хижине для собраний у ярко пылавшего очага.

Когда я пришел, несколько старейших слушали Али. Этот выходец из хауса¹ — единственный торговец враанос в туземном квартале. Бородка его поседела, и он так мудр, что по праву занимает место среди старейших Даигана. Рассуждения Али прервал бывший солдат Меконго:

— Говорю вам, вы зря ломаете себе голову из-за этой женщины, жены коменданта. Пока вы не поспите с белой женщиной, вы будете зря ломать себе голову. Я воевал в стране белых. Я оставил там ногу и ни о чем не жалею. Я видел много белых женщин и смею сказать, что жена коменданта — редкая белая женщина.

— Ты, который был на войне, — сказал кто-то, — ты, который спал с белыми женщинами, скажи нам, лучше ли они наших жен? Я не потерял головы, что задаю тебе этот вопрос. Почему белые не дают нам своих женщин?

— Вероятно, потому, что белые мужчины необрезанные! — заметил кто-то.

Все расхохотались. Когда вновь наступила тишина, Меконго ответил тому, кто обратился к нему с вопросом:

— Правда твоя, Обила; у тебя есть голова на плечах, и на исполнена мудрости. Вопрос, который ты мне задал, достоин мудреца, который хочет понять. Наши предки говорили: «Истина живет по ту сторону гор, чтобы познать ее, надо странствовать». Итак, я пустился в странствие. Я совершил большое путешествие, о котором ты слышал. Я спал с белыми женщинами. Я воевал, я потерял ногу и могу тебе ответить.

Когда я покинул эту страну, я уже был мужчиной. Если бы я был ребенком, белые не признали бы меня.

¹ Хауса — народ, живущий в Западном Судане; составляет значительную часть населения в Северной Нигерии, а также проживает в Республике Нигер, в Камеруне и других африканских государствах (всего — свыше 8,5 млн. человек).

Отправляясь на фронт, я оставил беременную жену. Во время ливийской кампании я не думал о женщинах. После победы наш батальон переправили в Алжир. Мы получили двенадцатидневный отпуск. При мне были все мои деньги. Я мог нарушить шестую заповедь, смерть была далеко. Я дружил с белыми, с настоящими белыми. Они сказали мне: «Товарищ, пойдем с нами, в городе много женщин». Я спросил у них: «Есть ли там негрятянки?» Они ответили: «Белые женщины, белые госпожи». Я думал, что белые женщины и негры не могут спать вместе. У нас это никогда не делалось. Но мне сказали, что солдаты сара¹ уже завели себе белых подружек, и я решил пойти вместе с белыми друзьями. Они привели меня в бордель. Это большой дом, полный женщин. Со дня своего рождения я не видел ничего подобного. Тут находились женщины всех мастей, всех размеров, всех возрастов. У одних волосы были цвета манса, у других — чернее каменноугольной смолы, у третьих — краснее латерита. Толстобрюхий большой человек с мешками под глазами велел мне выбрать одну из женщин, проходивших мимо меня. Мне хотелось иметь настоящую белую, у которой были бы волосы цвета манса, глаза пантеры и бедра как тесто, что сушится на солнце.

— Да, такова настоящая белая женщина, — подтвердил кто-то.

Все закивали. Одобрительный шепот пробежал среди собравшихся. Меконго продолжал:

— Когда я выбрал, женщина подошла ко мне и потрепала меня по подбородку. Мы вошли в спальню. Я никогда не видел такой комнаты. Зеркала были повсюду. Наши

¹ Сара — народность, живущая в верхних реках Логоне в Республике Чад.

изображения покрывали стены и потолок. Широкая кровать была убрана, как это принято у белых. Дальше стояла ширма, за которой имелось все необходимое для мытья. На моей женщине было длинное платье с множеством пуговиц спереди. Она была одного роста со мной и белая, как волоклой. Ее волосы цвета маиса падали на плечи. Она, смеясь, назвала меня «цыпленочком». Кровь бросилась мне в лицо. Я вскочил. Она испуганно попятилась. Я спросил, почему она меня оскорбляет. Она засмеялась, навиваясь всем телом. Это еще больше рассердило меня. Мне хотелось дать ей здоровенную оплеуху, но я боялся, что меня разжалуют. Успокоившись, она объяснила, что и не думала меня оскорблять и что белые женщины называют так своих дружков. Она показала мне письмо, которое написала одному из своих дружков. И в самом деле, я прочел не то «обжаренный», не то «обожаемый цыпленочек», точно не помню. Я понял, что она говорит правду. А что произошло после!.. Но сначала надо удалить детей.

Детей прогнали, и они, недовольно бормоча, вышли из хижины.

— Дети ушли,— сказал Меконго.— Подойдите ближе, мне не хочется повышать голос. Я расскажу вам о том, о чем не принято рассказывать.

Мужчины тесным кольцом окружили Меконго.

— Счастливцев ты, тебе пришлось воевать! — сказал кто-то.

Тут я ушел.

* * *

Вот уже две недели, как комендант уехал в командировку. Весь вечер госпожа не находила себе места. Она несколько раз спросила у меня, не был ли кто-нибудь. По-

звала часового и задала ему тот же вопрос. Интересно, о ком идет речь?

Затем она принялась мерить шагами веранду. Госпожа скучает...

* * *

Портомой, которого я нашел для госпожи, смывленный парень. Он моложе меня и плохо говорит по-французски. Он служит в больнице. Он сказал мне, что исполняет там всякую работу — убирает с поденщиками двор, вырывает сорную траву, очищает мусорные ящики от грязной ваты и бинтов. Он помогает также санитарам держать за ноги строптивых больных, которых насильно привозят в больницу в санитарных машинах.

Я спросил, как он находит госпожу.

— Она такая же, как и все здешние белые, — ответил он.

— Но ведь она самая красивая? — настаивал я.

— Знаешь, — ответил он, пожимая плечами, — я не понимаю толка в красоте белых женщин...

Странный малый... Зовут его Баклю.

Интересно, кого это госпожа ждала вчера...

* * *

Начальник тюрьмы пришел поболтать с госпожой. Не его ли она ждала вчера...

* * *

Да, именно г-на Моро госпожа ожидала вчера. Как я не подумал о нем? Г-н Моро выделяется среди всех данганских белых: он настоящий мужчина. Негры прозвали его «Белым Слоном». Это один из тех мужчин, на которых

неволью обращаешь внимание. Нельзя забыть его могучие плечи. В Дангане он всем внушает почтение, даже коменданту.

Интересно, почему он не пришел вместе с соплеменниками приветствовать госпожу по случаю ее приезда. Или, чтобы съесть овечку, лев ждал, когда не будет пастуха?

Сегодня утром стражник на дыпочках подошел ко мне, приложив к губам толстый указательный палец. Госпожа еще спала. Он опустил руки мне на плечи, и я почувствовал, что его влажные губы тянутся к моему уху. Я ничего не понимал во всей этой таинственности.

— Право, нельзя сказать,— проговорил он чуть слышно,— чтобы я не видел, как начальник тюрьмы прощался с госпожой после полуночи...

Стражник взял меня за руку и увел в дальний угол веранды.

— Дела обстоят так, как они обстоят,— продолжал он таинственно.— Все идет своим чередом. Ничто не случается без причины. Если я говорю, то потому, что у меня есть язык. Если я вижу, то потому, что у меня есть глаза. Глаз опережает язык и действует быстрее, так как ничто не задерживает его в пути... Итак, я говорю...— сказал он после паузы и провел широкой ладонью по губам.— Я говорю, что пантера кружит вокруг овцы. Я тут ни при чем, вот эти штуки (он указал двумя пальцами на свои глаза) все видели.

Стражник пристально смотрел на меня, словно чего-то ожидая.

— Счастье твое, что ты можешь потеть по такому холоду,— добавил он.— Сразу видно, что кровь у тебя молодая.

Я невольно дотронулся до своего носа. Он был влажен. Я сел на крыльцо. Я чувствовал какое-то странное ощущение. Мне казалось, что ноги мои стали чужими.

— Следовало подумать о друге, а не напиваться в одиночку! — воскликнул стражник, тяжело опускаясь рядом со мной. — Мог бы принести мне малую толщину для согревания нутра!

Он зевнул.

— Скажи, они всю ночь разговаривали? — услышал я собственный вопрос.

— Кто они? — спросил озадаченный стражник.

— Как кто? — возмутился я. — Госпожа и...

— Ааааа!.. — воскликнул он. — Все так и начинается — вопросы и вопросы, которым нет конца! Я не понимаю вас, детей сегодняшнего дня. Во времена немцев нас не интересовали истории белых. Я не понимаю, я не понимаю, почему ты задаешь мне этот вопрос...

Он вздохнул.

— Я не сказал тебе, что я их слушал... Я сказал тебе, что их слова достигли моего слуха. Я тут ни при чем...

— Доброе утро, друзья! Хорошо спали?

Это сказал, подходя к нам, Баклю. Он сел между стражником и мною. Стражник что-то пробурчал.

— У вас обоих какой-то чудной вид! — заметил Баклю.

Он внимательно посмотрел на нас. Стражник хотел было встать. Баклю удержал его за штанину. Стражник покорно опустился на прежнее место.

— Не моя это вина, — сказал стражник с дрожью в голосе. — Язык всегда опережает меня самого...

Он сжал губы.

— Я был тем, кто видел и слышал, сам того не желая.

— Что ты тянешь? Можно подумать, что в задницу

тебе вцепился скорпион! — воскликнул Баклю. — Со мной тебе нечего бояться: ухо мое — могила. Ты не откажешь в этом брату, настоящему... — взмолился он.

— Понятно, понятно, — сказал стражник, из стороны в сторону качая головой.

Он развел руками, как священник, провозглашающий: «Dominus vobiscum!»¹

— Слушай же, брат, мои слова изменят твои мысли. Я рассказал Тунди о том, что достигло моего слуха, о том, что произошло перед моими глазами. Белый Слон, которого ты знаешь, наведаясь в поле коменданта во время его отсутствия...

— А вам какое дело до этого? — спросил Баклю в недоумении.

— Никакого, ровно никакого, — поспешно ответил стражник. — Это я и говорил Тунди...

Баклю повернулся ко мне. Он долго пристально смотрел на меня, затем отвел глаза. Он сделал недовольную гримасу, почесал у себя в затылке и кашлянул.

— Тунди, брат мой, любимый брат мой, — начал он, — если бы ты знал, как ты меня беспокоишь... Чего ты, в сущности, добиваешься? С каких это пор глиняный горшок водит компанию с дубиной? Чего ты хочешь?

— Ты говоришь, как старейший, — сказал часовой, шумно проявляя свое одобрение. — Это утешает меня; не все нынешние юноши — сумасшедшие...

В военном лагере проиграла зорю, было восемь часов.

— За работу! — сказал Баклю, вставая. — Мы пришли сюда работать, только работать.

— Все же мне больно подумать, что госпожа может

¹ С вамп бог! (лат.)

сделать такое коменданту, — заметил стражник. — Ведь она только что приехала из Франции...

— Заткни лучше глотку! — крикнул Баклю. — Тебе уже сказали, что эта история нас не касается, а ты продолжаешь говорить!

— Знаешь, сын мой, — сказал стражник, — нет ничего хуже мыслей... Я тут ни при чем... Только мне хотелось бы знать, случилось это или не случилось... Ты моешь белье, ты увидишь по простыням...

— Как я не подумал об этом! — воскликнул Баклю. — Ты мудрее старой черепахи.

Они засмеялись, переминиваясь. Я ушел, чтобы приготовить душ для госпожи.

Баклю ждал у дверей прачечной. В девять часов госпожа еще не вставала. Стражник присоединился к Баклю. До меня долетели обрывки их разговора. Речь шла по-прежнему о том, произошло это или не произошло. Мысли вихрем кружились в моей голове. Я уже не раз спрашивал себя, как может госпожа, настоящая женщина, довольствоваться мужем... Начальник тюрьмы — один из тех мужчин, которые не ухаживают за женщинами. Он знает, чего хочет, и, чтобы съесть плод, не ждет, пока тот упадет с дерева.

* * *

Свершилось. Бедный комендант!

В одиннадцать часов госпожа еще спала. Понимаю теперь почему. Около полудня она позвала Баклю. Я впдел из кухни, как он, посмеиваясь, направился в прачечную. Оттуда он стал что-то жестами объяснять стражнику, который расхохотался. Затем сделал мне знак следовать за ним. Я вылил таз горячей воды в ванну и бегом присоединился к Баклю и стражнику в прачечной. Нет никакого

сомнения — все свершилось этой ночью... Бедный комендант!

Господин Моро опять приехал в четыре часа. Госпожа была счастлива. Она пела и, как козочка, прыгала по дому.

Бедный комендант!

* * *

Один из стражников, уехавший вместе с патроном, вернулся в полдень. Он вручил письмо госпоже. Она мельком пробежала его. Написала что-то на обороте и вложила в другой конверт, который я тотчас же отнес начальнику тюрьмы.

Увидев меня, г-н Моро встал из-за стола — он обедал с женой — и вышел на веранду. Он буквально вырвал письмо у меня из рук. Когда он окончил чтение, мне показалось, что ему хочется меня поцеловать. Он дал мне пачку сигарет. Это все, что я мог передать госпоже. Она тоже, по-видимому, была вне себя от радости.

Ох, уж эти мне белые! Стоит им увлечься — все остальное перестает существовать.

Значит, комендант проведет еще несколько дней в лесу «Хитрого шимпанеа».

Бедный хозяин!..

* * *

Госпожа отпустила слуг в шесть часов вечера. Она велела мне остаться, чтобы подать ужин, на который были приглашены г-н Моро с супругой. Гости приехали в семь часов. Госпожа надела черное шелковое платье, красиво облегавшее ее фигуру. Г-н Моро был великолепен в спитом по заказу темном костюме. Г-жа Моро выглядела поистине бесцветной. Ее белое платье не подчеркивало ни

груди, ни бедер. Интересно знать, как такая хрупкая женщина выдерживает Белого Слона, пышущего здоровьем великана? Когда они приехали в резиденцию, я понял, что крестная мука г-жи Моро начинается. Приглашение госпожи показалось мне очень рискованным.

Моя хозяйка и г-н Моро не стеснялись. Они держали руки под скатертью, и легко было догадаться, не будучи колдуном, что там происходит. Г-жа Моро встала и попросила меня провести ее в уборную. Я шел впереди, освещая веранду электрическим фонарем. Г-жа Моро тащилась за мной. Она, всхлипывая, прижимала ко рту носовой платок.

Я оставил ее в уборной и, крадучись, подошел к освещенному окну гостиной и посмотрел сквозь щель. Г-н Моро целовал госпожу в губы.

Я на цыпочках вернулся обратно и стал ждать г-жу Моро, которая все не выходила. Прошло не меньше получаса, когда мы пришли наконец в гостиную. Г-жа Моро напудрилась, затем, сославшись на сильную головную боль, извинилась перед мужем и хозяйкой дома. Г-н Моро в машине проводил жену домой.

Через час он приехал обратно.

— Можешь идти, Жозеф, — сказала госпожа елеинным голосом.

* * *

Хозяин приехал сегодня утром. Это неожиданное возвращение не предвещает ничего доброго. Стражник уверяет, будто коменданту приснилось, что кто-то спит с его женой.

Я мыл посуду, когда знакомый шум мотора затял у гаража. Было одиннадцать часов, и госпожа, которая не встает раньше полудня с тех пор, как ее супруг уехал,

вероятно, еще нежилась после проведенной ею бурной ночи.

Я поспешил в гараж, чтобы отнести чемодан патрона.

— Здравствуйте, господин,— сказал я.

— А, это ты, Жозеф? Здравствуй. Госпожи нет дома?

— Она еще спит, господин.

— Она заболела?

— Не знаю, господин.

Патрон побежал к дому. Он переставлял свои короткие ноги с необычайным проворством. Широко шагая, я следовал за ним с чемоданом на голове. Я жалел этого человека: ведь он спешил к жене, для которой уже не был единственным мужчиной. Мне хотелось посмотреть, как будет держаться госпожа теперь, когда она ему изменила.

Закутавшись в купальный халат, она ждала коменданта на веранде. Она через силу улыбнулась и встала ему навстречу. Хозяин поцеловал ее в губы. Впервые госпожа не закрыла глаз.

Я стоял за спиной господ. Я не смел попросить, чтобы они пропустили меня с чемоданом, который надо было отнести в спальню коменданта. Я потупился и тут же поднял голову. Мой взгляд встретился со взглядом госпожи. Глаза ее сузились, затем расширились, словно она увидела что-то страшное. Я невольно посмотрел под ноги, нет ли там ядовитой змеи. Я услышал, как комендант спросил жену, не случилось ли чего-нибудь.

— Но ты же бледна, как смерть, Сюзи!

— О, это пустяки,— ответила она.

Патрон по-прежнему стоял ко мне спиной. Госпожа не спускала с меня глаз. Комендант разжал объятия. Супруги вошли в гостиную.

Я застыл внизу лестницы. Страх госпожи приковал меня к месту. Я осмотрел стебли мелиссы — любимое убежище зеленых змей, укусы которых очень опасны. Вдруг я почувствовал что-то мягкое, липкое под ногами. Я подскочил, испустив громкий вопль. Комендант подбежал к окну. Мне было стыдно за себя, стыдно, что я закричал, так как наступил всего-навсего на банановую кожуру.

— Что с тобой, Жозеф? — громовым голосом спросил комендант.

— Ничего, господин.

— Ты совсем спятил, бедняга! С каких это пор ты дерешь глотку ни с того ни с сего? Или это принято у твоих соплеменников?

— Да, принято, господин, это в честь вашего приезда, господин, — ответил я, вдохновившись вопросом коменданта.

Я сопровождал эти слова простодушной улыбкой. Хозяин пожал плечами и отошел от окна. Я отворил дверь в гостиную и попросил ключ от спальни, чтобы отнести туда чемодан.

— Поставь его на стул, — сказала госпожа, — я сама уберу вещи.

Завтрак прошел в тягостном молчании. Унылая тишина стояла в доме. Я примостился возле холодильника. Комендант сидел ко мне спиной. Госпожа уткнулась в тарелку.

До отъезда коменданта за столом было весело, так как болтовня госпожи оживляла этот ежедневный тет-а-тет.

Комендант опять спросил у жены, не больна ли она.

— Говорю ж тебе — нет.

— Не понимаю... ничего не понимаю, — пробормотал

комендант.— Может, жара действует тебе па нервы? Непременно посоветуйся с врачом... Голова не болит?

— Немного...— проронила госпожа, занятая своими мыслями.

— Бой, аспирина! — приказал патрон.

Я подал коробочку госпоже, рука ее дрожала.

— Увидишь, тебе станет легче,— сказал комендант.—

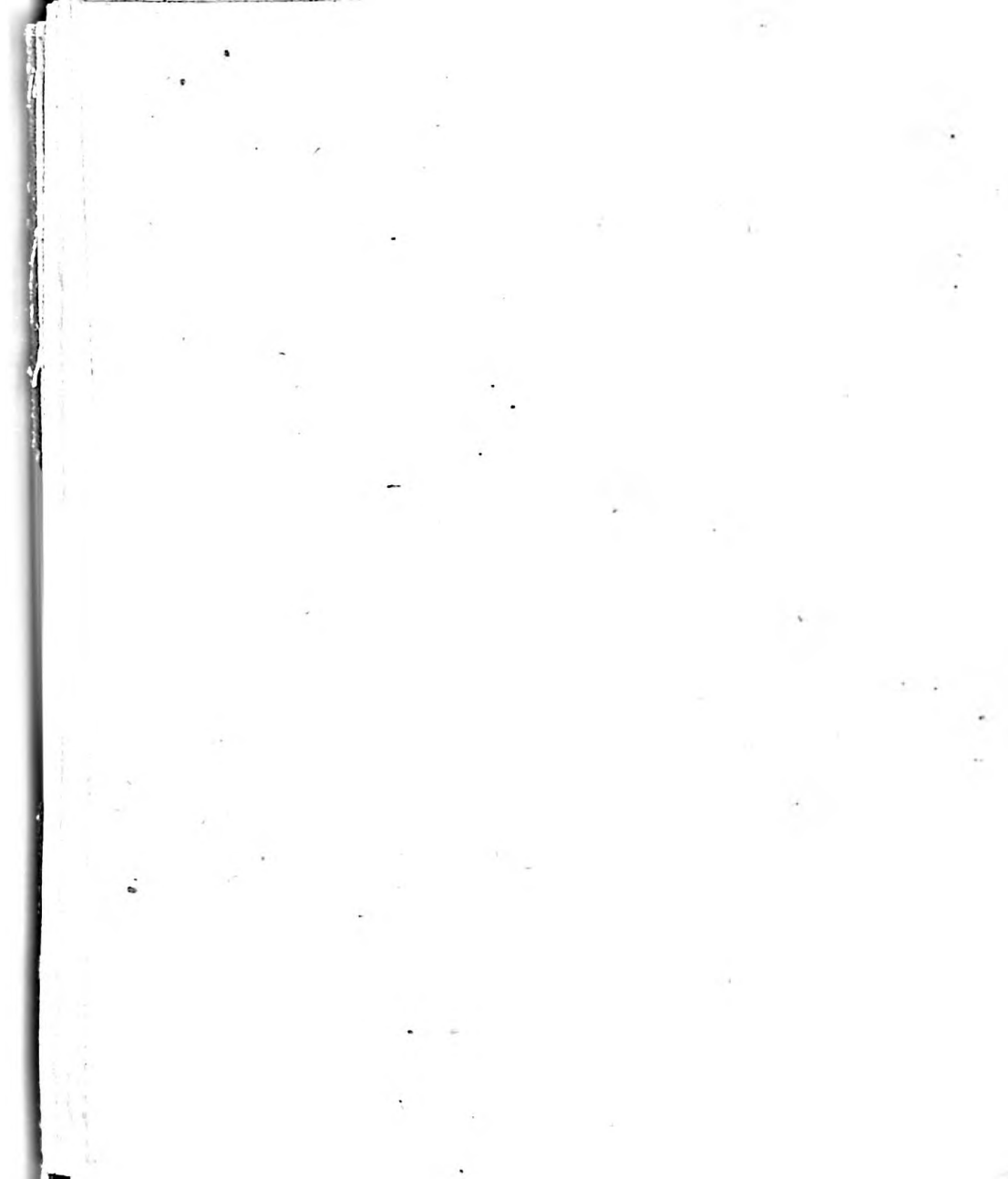
А завтра непременно посоветуйся с врачом.

Тяжело ступая, он вышел на веранду.





**дневник тунди
тетрадь вторая**





анган разделен на две части — европейскую и туземную, но, несмотря на это, все, что происходит в домах под железными кровлями, известно до мельчайших подробностей в глинобитных хижинах. Насколько местные жители осведомлены о жизни белых, настолько белые слепы ко всему, что их окружает. Любому негру известно, например, что жена коменданта изменяет мужу с начальником тюрьмы, нашей грозой.

— Белые женщины немногочисленны, — сказал мне как-то бой г-на Моро. — Даже жена такого большого вождя, как комендант, не прочь поразвлечься в машине с любовником! Жаль, что эти истории зачастую кончаются выстрелами...

И он рассказал мне, как в Испанской Гвинее, на его глазах, двое белых чуть не убили друг друга из-за женщины, которая даже не была вполне белой, одной из тех женщин, которых мы сами презираем...

Можно ли убивать или рисковать жизнью из-за женщины?! Наши предки были мудрецами. «Женщина — кукурузный початок, — говорили они, — доступный всякому рту, только не беззубому».

* * *

Впервые госпожа принимала любовника в присутствии мужа. Г-н Моро в резиденции? От страха у меня весь вечер болел живот. Теперь я ругательски ругаю себя. Как мне излечиться от этой дурацкой чувствительности? Ведь я зря страдаю из-за нее, когда дело меня совершенно не касается.

Право, в пылу страсти белые бросают вызов судьбе. Я не ожидал, что г-н Моро появится в резиденции, после того как весь Данган осведомлен о его отношениях с госпожой. Комендант слишком высокого мнения о себе, чтобы сомневаться в супруге. Весь вечер он пыжился, как индюк. Он ничего не заметил — ни излишних забот, которыми окружают мужей неверные жены, ни ледяной любезности между госпожой и гостем — любезности сообщников, желающих казаться чужими...

Занятно, как много выражений мелькает на женском лице в такие минуты. Госпожа менялась до неузнаваемости в зависимости от того, обращалась ли она к любовнику или к мужу. Когда она улыбалась первому, я видел лишь ее ресницы. Когда она улыбалась коменданту, на лбу у нее выступали капельки пота — от усилия смеяться как можно натуральнее. Это с трудом удавалось ей, хотя она и подносила платок к глазам, чтобы вытереть вообра-

жаемую слезу... Комендант посмеивался с оттенком превосходства и тут же принимал сокрушенный вид, словно был в отчаянии от того, что начальник тюрьмы, на которого он взирал сверху вниз, не понимает острог. Тогда г-н Моро с опозданием раздражался смехом, что вызывало наконец естественный смех госпожи!

Госпожа случайно обратила взор в сторону холодильника, где я стоял, ожидая приказаний. Она вспыхнула и тотчас же перевела разговор на негров. Г-н Моро рассказал о неграх, заключенных в тюрьме. Вышло, что данганская тюрьма — рай для местных жителей. Можно было подумать, будто негры, которых выносили оттуда ногами вперед, умирали от счастья. Ох, уж эти мне белые!

* * *

Госпожа поджидала меня на крыльце. Заметив меня, она перестала кружить на месте. Взгляд ее неотступно следовал за мной, пока я поднимался по лестнице.

— Вот уже полчаса, как я жду тебя! — сказала она раздраженно. — Ты всегда теперь отлучаешься после обеда? Мне казалось, что твой рабочий день кончается в полночь? Где ты был?

— Грелся на солнышке, госпожа, — ответил я, изображив на лице глупейшую улыбку.

Эти слова подлили масла в огонь.

— Ты что, смеешься надо мной?

— Ни...ет, госпожа, — ответил я, делая вид, что заикаюсь от испуга.

— Ты считаешь себя умнее всех! — сказала она, презрительно усмехнувшись. — С некоторых пор ты считаешь, что тебе все позволено! Все замечают это, даже мои гости!

Она засунула руки в карманы своего шелкового

халата. Глаза ее сузились. Она сделала шаг ко мне. Легкий ветерок, пахнувший мне в лицо, принес с собой запах женского пота и духов, от которого кровь моя загорелась. Госпожа удивленно взглянула на меня. Провела рукой по своему лицу и проговорила спокойно:

— При малейшем проступке я уволю тебя. А теперь можешь идти.

Я удрал на кухню. В этот час госпожа обычно занималась бельем. Я видел из кухни, как она надела шлем и стала осматривать во дворе белье, выстиранное Баклю.

— Баклю! Баклю! — позвала она.

Никакого ответа. Словно раненая пантера, она бросилась в прачечную. Я знал, что Баклю спит там после обеда, пока мокрое белье сохнет на солнце. Можно было услышать даже из кухни его храп. До нас долетел громкий голос госпожи.

— Влип, бедняга, — сказал повар.

— Лодырь, лентяй, — кричала госпожа. — Ты где находишься? Вы все здесь распустились! Господни, видите ли, иаволит почивать!.. Ну же, поворачивайся!

Баклю, который еще не вполне очнулся, прошел, спотыкаясь, по двору в сопровождении госпожи. Ей, очевидно, не хотелось подталкивать слугу. Он остановливался и тер глаза, подавляя зевок. На его длинном костлявом теле болтался потертый мундир швейцара. Брань напоминала ему о присутствии госпожи. Он чувствовал, что жена коменданта следует за ним по пятам, и, оробев, ускорял шаг. Они дошли до развешанного белья.

— И это, по-твоему, чистое белье?! — воскликнула госпожа, бросая ему в лицо кальсоны и майки коменданта. — Соня! Лодырь!

Шорты коменданта, рубашки, трусики госпожи, простыни — все это полетело в голову несчастного Баклю.

Он монотонно повторял один и тот же ответ, а госпожа забавно передразнивала его, выпятив нижнюю губу и из стороны в сторону качая головой.

— Белье не может стать новым, госпожа, белье не может стать новым...

Баклю подбирал упавшее белье. Госпожа, казалось, ничего не слышала. Она говорила, говорила, говорила. Никогда я не видел ее такой.

— Что можно ждать от таких, как ты! — восклицала она. — И подумать только, я не верила опытным людям! Но теперь все пойдет иначе... Начальник тюрьмы прав, да, с вами нужна плеть. Ну что ж, вы добьетесь своего. Посмотрим, чья возьмет!

Она взглянула в сторону кухни и увидела нас в окне. Налетела на нас. Осмотрела кастрюли, заметила разбитый графин. Назначила за него цену, которая наполовину снизилась наше с поваром жалованье.

— Это только начало, — приговаривала она, — только начало...

Она долго говорила, стоя на пороге кухни. Обозвала повара старой макакой, стала угрожать, затем, не зная, что еще придумать, вбежала в дом. Громко хлопнула дверь гостиной. Позже мы услышали шум машины, которую она выводила из гаража. Часовой тут же прибежал к нам на кухню. От хохота он согнулся пополам и размахивал своими длинными руками. Он взглянул украдкой в сторону резиденции, как бы желая удостовериться, что хозяйки там нет.

— Она уехала! — многозначительно проговорил стражник, улыбаясь во весь рот. — Сегодня четверг...

— Я не подумал об этом, — заметил Баклю. — Во всяком случае, госпожа распалилась, больше некуда! Счастливец начальник тюрьмы! Право, она пото-пото...

— Она взбесилась. Госпожа поистине пото-пото...¹

Повар, занятый чисткой бобов, провел рукой по лицу.

— Ей-богу, мне никогда не купить себе жены... Денег у меня остается так мало, что не хватает на сигареты...

— Обидно все же зависеть от капризов суки! — серьезно сказал стражник.

Тишина навалилась на нас.

— Да, обидно... — услышал я свой ответ.

* * *

Сегодня утром комендант опять уехал в джунгли. Этот человек неутомим. Я боюсь. На этот раз его отъезд не сулит ничего хорошего. Присутствие хозяина служило мне защитой. Что скрывается за молчанием госпожи? Она разговаривает со мной лишь знаками. Так поступила она утром, вручив мне письмо, которое я должен был отнести ее любовнику тотчас же после отъезда мужа.

Я застал начальника тюрьмы в ту минуту, когда он «учил жить» двух негров, заподозренных в том, что они обокрали г-на Жанопулоса.

В присутствии владельца Европейского клуба г-н Моро избивал моих соотечественников. Они были обнажены до пояса. На руках надеты наручники, шея обвязана веревкой, прикрепленной к столбу посреди «Площади наказания», что мешало им повернуть голову в ту сторону, откуда на них сыпался удары.

Ужасное зрелище! Плеть из гиппопотамовой кожи врезалась в тело, и при каждом «ух» сердце у меня переворачивалось. Г-н Моро, растрепанный, с засученными рукавами, так жестоко хлестал моих злосчастных соотече-

¹ Пото-пото — грязь, навоз.

ствеяников, что я в отчаянии вопрошал себя, останутся ли они живы. Жуя сигару, толстяк Жанопулос натравливал на них собаку. Пес рвал на истязаемых штаны и кусал их за икры.

— Признавайтесь же, бандиты! — крикнул г-н Моро. — Эй, Нджангула, ударь-ка их прикладом!

Подбежал здоровенный сара, взял на караул и ударил прикладом предполагаемых воров.

— Да не по голове, Нджангула, головы у них твердые... Бей по пояснице...

Нджангула стал бить их по пояснице. Негры осели, приподнялись и снова осели от удара, более сильного, чем предыдущие.

Жанопулос смеялся. Г-н Моро с трудом переводил дух. Негры были без сознания.

Поистине, голова у нас твердая, как сказал г-н Моро. Я полагал, что черепа моих соотечественников разлетятся вдребезги от первого же удара прикладом. Нельзя без содрогания видеть то, что я видел. Это ужасно. Я думаю о священниках, пасторах, обо всех белых, которые желают спасти наши души, проповедуя нам любовь к ближнему. Разве ближний белого только его соплеменник? Неужто после таких зверств еще найдутся глупцы, готовые верить чепухе, которой нас учат католики и протестанты?..

Как всегда, «подозрительные» будут отвезены в «Морильню для негров», где они пролежат дня два в агонии, затем их похоронят совершенно нагими на «Кладбище заключенных». А в воскресенье священник скажет: «Дорогие дети мои, молитесь за заключенных, которые умерли, не примирившись с господом». Г-н Моро обойдет верующих, держа в руках перевернутый шлем. Каждый положит туда одну-две монетки сверх того, что предусмотрено церковью. Белые прикарманыт деньги. Можно подумать,

будто они приобретают все новые средства, чтобы вернуть себе те жалкие гроши, которые выплачивают нам!

Несчастные мы...

* * *

Не помню, как я вернулся в резиденцию. Сцена истязания потрясла меня. Бывают вещи, которых лучше не видеть. Иначе будешь постоянно, помимо воли, вспоминать о них.

Мне кажется, я никогда не забуду этого зрелища. Никогда не забуду гортанного крика младшего из истязаемых, когда Нджангула нанес ему такой удар, что даже г-н Моро выругался, а г-н Жанопулос уронил сигару. Белые ушли, пожимая плечами и жестикулируя. Вдруг г-н Моро обернулся и поманил меня пальцем. Он взял меня за плечо, а г-н Жанопулос, удаляясь, многозначительно подмигнул ему. Я ощущал сквозь материю прикосновение горячей, влажной руки. Когда мы потеряли из виду г-на Жанопулоса, г-н Моро снял руку с моего плеча и стал рыться у себя в карманах. Он предложил мне сигарету и закурил сам.

— Ты не куришь? — спросил он, поднося мне зажигалку.

— Только по ночам, — ответил я, не зная, что сказать.

Он пожал плечами и выпустил длинную струю дыма.

— Ты передашь госпоже, что я буду там около... впрочем... (он взглянул на часы) гм... гм... я буду там в три часа. Понятно?

— Да... да... господин, — ответил я.

Он схватил меня за шею и заставил взглянуть ему в глаза. Сигарета, которую я спрятал за ухо, упала. Желая избежать его взгляда, я хотел наклониться и подобрать

ее. Он наступил на сигарету, и я почувствовал, как его пальцы впилась в мой затылок.

— Со мной шутки плохи... Понятно? — пробормотал он, заставив меня выпрямиться.— Поверь, дружок, меня не проведешь... Ты видел? — продолжал он, тыча большим пальцем себе за спину по направлению к тюрьме.

Он отпустил мою шею и посмотрел на меня, тараща глаза. Улыбнулся и бросил мне пачку сигарет. Это было так неожиданно, что я не успел ее поймать. Пачка пролетела у меня над головой. .

— Подними сигареты... это тебе,— сказал он.

— ...

— Знаешь, когда мне угодят, я делаю подарки. Ведь ты мой друг, да?

— Да, господин,— услышал я свой ответ.

— Превосходно... Помнишь, что я сказал?

— Да, господин,— услышал я свой ответ.

— Повтори.

— Вы сказали, что пожелаете к госпоже в три часа...

— Превосходно... Не забудь передать ей это... Когда вернется комендант?

— Не знаю, господин.

— Хорошо... Можешь идти,— проговорил он, бросая мне пятифранковую бумажку.

И удалился.

По дороге в резиденцию руки мои сами разорвали на мелкие куски банковский билет.

Госпожа поджидала меня, делая вид, будто занята цветами. Она шагнула мне навстречу, и улыбка тут же застыла на ее лице. Она сильно покраснела. Безуспешно попыталась выдержать мой взгляд. Хлопнула себя по ноге, чтобы раздавить воображаемую муху.

— Он придет ровно в три... в час послеобеденного сна... — сказал я, уходя.

Она пошевелила губами. Грудь ее поднялась и опустилась, наподобие кузнечных мехов. Она побледнела и осталась стоять на месте, сжимая подбородок левой рукой. Другая рука нервно комкала юбку.

Когда я пришел на кухню, повар сказал мне:

— У тебя выйдут неприятности, если ты будешь постоянно обращаться к госпоже с такой кривой усмешкой. Ты не слышал, как она сказала тебе: «Спасибо, господин Тунди»? Поверь, когда белый становится вежлив с негром, это плохой знак.

Господин Моро явился задолго до трех часов. Госпожа ждала его, качаясь в гамаке. Поверх шортов он надел шелковую полосатую рубашку, походившую на суданское бубу. Он пришел по шоссе, а не по протоптанной его же ногами тропинке, ведущей к окну госпожи, — он неизменно появлялся там в лунные ночи, когда коменданта не было дома. Мы недоумевали, почему он предпочел шоссе, где его можно было заметить из докторского дома, расположенного поблизости от резиденции. Он шел, крутя в правой руке цепочку. Увидев его, госпожа повала меня и велела приготовить две порции виски. Госпожа всегда пьет спиртное в отсутствие мужа. Она соскочила с гамака и протянула обнаженную до плеча руку начальнику тюрьмы, который прильнул к ней долгим поцелуем в ожидании, вероятно, лучшего. Госпожа повела плечами, встав на цыпочки. Оба рассмеялись и прошли в гостиную. Госпожа опустилась на диван и жестом пригласила г-на Моро сесть рядом с ней. Я придвинул к ним низкий столик, на котором стояли два стаканчика виски.

— Занятный у вас бой, — сказал г-н Моро, когда я уже был на пороге.

— Это господин Тунди,— проговорила она, отчеканивая каждое слово.

— Давно он у вас? — спросил г-н Моро.

— Его нанял Робер,— ответила госпожа.— Говорят, он был боем у отца Жильбера. Преемник преподобного отца отзывался о нем с большой похвалой... Но он фантазер, у него мания величия... С некоторых пор он держит себя слишком развязно... Но он уже получил предупреждение...

Господин Моро приподнялся и потушил сигарету, раздавив ее о пепельницу. Он таращил глаза, закрывал и раскрывал их, сильно хмуря брови, пока госпожа говорила. Он посмотрел на меня испепеляющим взглядом, и упрямая прядь волос упала ему на лоб. Он потер руки и наклонился к госпоже. Они одновременно взглянули на меня.

— Эй, ты, поди сюда! — поманил меня пальцем начальник тюрьмы. И, обращаясь к госпоже, добавил: — Видите, он не смеет смотреть на нас. Взгляд у него блуждающий, как у пигмея... Он опасен. Это характерно для туземцев. Когда они не смеют смотреть нам в лицо, значит, в их глупой башке засела какая-нибудь вредная мысль.

Он схватил меня за шею и заставил взглянуть ему в глаза. Это оказалось совсем нетрудно, и, отвернувшись, он проговорил:

— Странно... Советую уволить его. Я подыщу вам другого. А место этого боя у меня... в беконе¹,— добавил он на местном паречии.

— Но Робер дорожит им,— сказала госпожа,— он находит в нем какие-то неведомые достоинства... Я не раз просила мужа уволить боя, но вы знаете, как Робер упрям...

Значит, только благодаря коменданту я еще служу в резиденции. Я был прав, что опасался его отсутствия.

¹ Бекон — тюрьма. (Прим. автора.)

— Ты напрасно притворяешься, будто убираешь посуду, — проговорила госпожа, повысив голос. — Открой бутылку Перье и оставь нас в покое, господин Тунди.

Я подал им искристýй напиток.

— Госпоже ничего больше не угодно? — спросил я.

— Нет! — нетерпеливо ответила она.

Я поклонился и, пятясь, вышел из гостиной. Проходя мимо веранды, я услышал, как хлопнула дверь и ключ щелкнул в замке.

Слова молитвы всплыли у меня в памяти, и я громко повторил их. Мы пели эту молитву по-французски, когда кто-нибудь был при смерти:

Закрой дверь, апостол Петр,
Закрой дверь и повесь ключи,
Он не придет, он не умрет,
Закрой дверь, апостол Петр,
Закрой дверь и повесь ключи...

* * *

Зажав нос одной рукой, Баклю держал двумя пальцами гигиенические бинты. Он направлялся в кухню. Повар хлопнул дверь под носом у приятеля, осыпав его отборной бранью. Тот ушел, смеясь, в прачечную. Несколько минут спустя Баклю вернулся; с его мокрых рук стекала вода, и он беспорядочно размахивал ими, чтобы обсушить.

— Не подходи! — крикнул повар, приоткрывая дверь. — Не подходи!

— Что такое? — спросил Баклю, расхохотавшись. — Можно подумать, будто ты выше таких вещей! При одном взгляде на них тебя начинает мутить! А мне какво? Ведь я стираю белье вот этими руками!

Он потряс кистями рук и продолжал:

— Что поделаешь, каждому свое! Ты возишься с кастрюлями, я — с бельем...

Повар смотрел на него, раскрыв рот.

— Удивительно, что ты еще не привык к этому, — сказал Баклю. — Сдается мне, ты не впервые видишь грязное белье...

— Что поделаешь, — заметил повар, проводя ладонью по лицу, — сколько бы раз ты ни видел такое, всегда кажется, что прежде глаза твои были где-то далеко... Что сказали бы наши предки, если бы знали, что мы будем стирать на белых!

— Существуют два мира, — сказал Баклю, — наш мир, исполненный уважения, тайны и колдовства... И мир белых, где все выставляется напоказ, даже то, что не создано для этого... Нам остается только приспособиться... Мы, портомой, похожи на врачей, мы касаемся того, что претит обыкновенному человеку...

— Кто мы такие для этих белых женщин? — спросил повар. — Все те, у которых я служил, давали стирать эти вещи своему портомою, словно он не мужчина... У белых женщин пет стыда...

— Какой там стыд! Ведь они живые мертвецы! — не выдержал Баклю. — Разве у мертвецов есть стыд? Можно ли говорить о стыде, если белые женщины дают целовать себя в губы среди бела дня, при всем честном народе! Если они готовы с утра до ночи тереться головой о щеку мужа... а чаще всего любовника, испуская нежные вздохи. Если им глубоко наплевать, где они в эту минуту находятся! Они, быть может, хороши в постели, но неспособны сами стирать свое белье... Говорят, они много работают у себя на родине. Зато здесь!

Баклю собрался продолжить разговор, но тут на веран-

де появилась госпожа. Он взглянул на нее, поклонился, затем подмигнул нам.

— Что ты тут делаешь, Баклю? — спросила она.

— Ничего, госпожа. Я рассказывал о своей подружке...

Госпожа закусил губу, чтобы не рассмеяться. Она сделала усилие над собой и сказала:

— За работу! Сейчас не время болтать...

Баклю удрал в прачечную.

* * *

Я был немного удивлен, увидев жену доктора на лестнице резиденции. Было четыре часа пополудни, и госпожа еще спала. Я подбежал к докторше, чтобы взять у нее зонтик. Она поспешно отстранила меня и отвернулась. С достоинством преодолела две последние ступеньки и вошла на веранду. Постучала в дверь и, не получив ответа, обернулась. Спустилась на одну ступеньку, но не решилась идти дальше. Смирившись, позвала меня. Подняла свои выщипанные брови и обратилась ко мне, не разжимая золотых зубов.

Я опрометью бросился в спальню госпожи. Дверь не была заперта. Госпожа спала на кровати с открытым ртом, одна рука свесилась, ноги были скрещены. Муха, похожая на родинку, сидела у нее на щеке. На госпоже были брюки; ложась спать, она расстегнула ажурную кофточку, и видна была упругая грудь в розовом лифчике.

Громко кашлянув, я постучался. Она вздохнула, открыла глаза и спрыгнула на пол, прикрыв грудь.

— Супруга доктора на веранде, — сказал я в виде извинения.

Она застегивала кофточку, смотря на меня со сдержанным гневом и презрением.

— Проводи ее в гостиную,— молвила она.— Ты что же, решил больше не стучаться?

— Дверь была отворена, госпожа,— возразил я,— но я все же постучался..

— Хорошо,— отрезала она.— Приготовь лимонного сока с водой Перье.

Госпожа захлопнула дверь у меня под носом. Когда я вернулся на веранду, докторша пудрилась, гримасничая перед крошечным зеркалом, которое лежало у нее на ладони. Она старательно вытягивала несуществующие губы. При каждом движении морщины веером разбегались под ее тусклыми глазками. Она спрятала зеркало и пудреницу. Вздрогнула, заметив меня. Снова подняла выщипанную бровь с деланной улыбкой, от которой забавно растянулся ее рот. Я наклонил голову и распахнул дверь гостиной. Она высокомерно проследовала в нее. Я указал ей на кресло. В эту минуту появилась госпожа.

Она успела надеть свое серое шелковое платье и освежить лицо. Она разыграла удивление, выразила удовольствие по поводу посещения гостыи. Та заверила госпожу, что у нее превосходный вид, а госпожа солгала, будто находит весьма изящной шляпку докторской жены. Они заговорили о жаре и наступающем периоде дождей. Как старая колонистка, докторша любила все преувеличивать. Она спросила, как чувствует себя комендант, рассыпалась в похвалах ему и, не переводя духа, заговорила о г-же Сальвен, о ее супруге и обо всех данганских белых. Стала жаловаться на приступы малярии, которой болеет ее муж, и прервала свою речь лишь для того, чтобы осчастливить меня холодным «спасибо», отстранив горлышко графина от своего стакана. Госпожа слушала ее, принужденно улыбаясь и держа двумя пальцами подбородок. Они подняли стаканы, пригубили их и почти одновременно поставили

на место. Докторша сложила руки. Она наклонилась к госпоже, с пронзительным смехом откинулась на спинку кресла и снова наклонилась. Они закурили. Докторша принялась повторять все свои рассказы. Заговорила о дочери-медичке, которая учится в Париже, о будущей зиме, когда она увидит наконец свою Мишель.

Сперва я по привычке прислушивался к разговору, притворяясь, будто занят делом. Когда уши мои устали, я стал думать о другом. Не знаю, о чем шла речь, когда слова докторши привлекли мое внимание.

— ...вчера, после обеда... — сказала она.

Это все, что я услышал из целой фразы, которую она произнесла, наклонившись к уху госпожи.

Они одновременно посмотрели в мою сторону, и госпожа покраснела. Затем они перестали обращать на меня внимание.

— Представьте себе, — продолжала докторша, — слуги воображают, будто мы не понимаем их языка... Мои бои растерялись вчера, когда я застала их на веранде. Они показывали пальцем на господина Моро, проходившего мимо вашего дома, и говорили все разом, смеясь и крича: «Тунди! Тунди!» Я спросила, в чем дело, и узнала...

Докторша опять наклонилась к госпоже, и они опять взглянули на меня. Госпожа опустила глаза.

— Все они такие, — продолжала докторша, — противные, вазойливые. Они всюду и нигде...

Хотя она говорила шепотом, я услышал последние слова:

— Будьте осторожны... Еще есть время, ведь ваш муж ничего не знает...

Госпожа хотела было взяться руками за голову. Но передумала, осушила стакан и вытерла капельки пота, выступившие на ее лице. Обе дамы встали и вышли на

веранду. Они еще долго беседовали. Горн протрубил половину пятого. Госпожа проводила докторшу до самой улицы.

Вернувшись, она позвала повара, чтобы зажечь лампу «Аида». Это я зажигал ее каждый вечер, когда первые почные бабочки задевали меня своими крылышками. Отец Жильбер научил меня делать это, и я гордился своим умением. Остальные слуги коменданта смертельно боялись прикасаться к бензиновым лампам. Оно и понятно — из-за взрыва этих ламп осталось немало вдов в туземном квартале.

Повар притворился глухим. Госпожа сама отправилась на кухню. Она сделала вид, будто не заметила меня, хотя прошла совсем близко, потинула повара за фартук и указала ему на лампу, стоявшую на веранде. Повар воздел руки в знак мольбы и сказал, что, с тех пор как работает у белых, ни разу не зажигал лампы «Аида». Госпожа не сдавалась. Она позвала Баклю, но тот, верно, отсыпался где-нибудь в туземном квартале, опьянев от изрядного количества пива...

Госпожа опять указала повару на веранду, но тот зартачился, как баран, которого тащат под дождь. Она подавила гнев и обернулась ко мне. Казалось, она делает нечеловеческие усилия, чтобы заговорить со мной. Я не стал ожидать приказаний и поспешил зажечь лампу.

Яркий свет залил веранду, двор и кухню. Госпожа ходила взад и вперед. Она то погружалась во мрак, в промежутке между кухней и прачечной, то выходила на свет. Повар пересек двор, неся на голове дымящееся блюдо.

Я проворно накрыл на стол. Госпожа вошла в дом и во время ужина не подняла головы и не проронила ни слова. Затем она отпустила нас.

Госпожа писала письма. Время от времени она поднимала голову, и взгляд ее рассеянно блуждал по комнате и холодильнику, который я чистил. Она отодвинула письменный столик, подошла к вазе с цветами и сорвала несколько лепестков гибискуса. Вложила их в конверт, провела по нему розовым язычком и заклеила. Она встала, взяла свои бумаги и удалилась в спальню.

— Бой! Душ готов? — спросила она из-за перегородки.

— Да, госпожа, — ответил я.

Госпожа попробовала засвистеть, но у нее ничего не вышло, и она умолкла. Послышался звук упавшего па цементный пол флакона и возглас госпожи. Она позвала меня, чтобы я убрал осколки. Разбился флакон с жидкостью, которой она смазывает лицо по вечерам. Осколки стекла отлетели под кровать. Я опустился на колени и стал водить под ней щеткой, которая извлекла не только осколки, но и маленькие резиновые мешочки. Их было два. Не слыша больше стука щетки, госпожа обернулась. Я как раз рассматривал мешочки, поворачивая их щеткой. При виде этого госпожа подскочила ко мне и попыталась запихнуть их ногой под кровать.

— Убирайся! — закричала она. — Убирайся! Вот как, ты не знаешь, что это? — продолжала она, вне себя от гнева. — Ты ничего не знаешь. Полно притворяться! Можешь повсюду раззвонить о своей находке! Будет, о чем поболтать с данганскими боями... Вон отсюда!

Случается, что гнев белых оставляет тебя совершенно равнодушным. Должен признаться, что на этот раз я ровным счетом ничего не понял. Госпожа вытолкала меня за дверь; совершенно ошалевший, я очутился на веранде.

Повар наблюдал за мной из окна кухни. Он грустно

покачал головой, ударил правой рукой о левую и приложил левую ладонь ко рту. Он выражал этим свое удивление, что всегда раздражало меня. Он отошел от окна. Я все еще как дурак держал щетку.

Я спустился по лестнице и вернулся на кухню. Повар стоял ко мне спиной и с минуту воздерживался от замечаний. Наконец он обратился ко мне:

— Ты никогда не будешь хорошим боем, Тунди. В один прекрасный день ты станешь причиной несчастья. Когда же ты поймешь, что белому нужен не ты сам, а твои услуги! Я повар. Белый видит меня лишь через свой желудок... Не понимаю вас, теперешнюю молодежь, что на вас нашло? Со времени немцев белые не изменились, это я тебе говорю. Изменился только язык... Да, вы, дети наших дней, очень нас огорчаете...

Он помолчал.

— Чем ты опять рассердил госпожу сегодня утром? — спросил он.

— ...

Он повторил вопрос.

— ...

— Не таращи глаза, — продолжал он. — Я старше тебя. Ты мне в сыновья годишься. Прислушайся к голосу мудрости. Выйдя из норы, мышь не задирает кошку...

— Твоя правда, — ответил я наконец, — но скажи мне... эти резиновые мешочки... разве бой не должен...

Он не дал мне договорить. Лицо его, серьезное за минуту перед этим, расплылось от неудержимого смеха. Он упал на пустой ящик, сотрясаясь всем телом. Взглянул на меня и рассмеялся еще пуще. Баклю прибежал из прачечной.

— Что случилось? — спросил он, собираясь повеселиться. — Что случилось?

Повар держался за бока. Он показал на меня пальцем, расхохотался и вынужден был опустить руку. Он задышался, вытирал глаза. Между тем Баклю заранее выставил свои козлиные зубы, смеясь над тем, что скажет повар, а тот бормотал: «По...го...ди, по...годи!» Наконец повар успокоился, подтянул локтями брюки и подошел к буфету, двигаясь, словно горилла, которая собирается вабраться на дерево. Налил себе стаканчик красного вина. Опрокинул его и вновь уселся на ящик.

— Не часто удается посмеяться от души! — сказал он. И снова вытер глаза.

— Не будь эгоистом! — взмолился Баклю, теряя терпение. — За сколько продаешь свою новость?

— Дороже женщины! — ответил повар, смеясь.

Это означало, что новость стоит так дорого, что он предпочитает сообщить ее даром.

— Итак, — заговорил он, — Тунди и госпожа поссорились из-за мешочков...

— Каких мешочков? — спросил Баклю. Он выпятил нижнюю губу, притворяясь удивленным.

— Резиновых мешочков, знаешь... белые надевают их...

Он пояснил свои слова жестом. Баклю согнулся пополам от хохота и стал пятиться, пока не стукнулся задом о буфет. Он соскользнул на пол, плечи его ходуном ходили, тогда как из горла рвались звуки, похожие на тьяканье. Повар встал и похлопал его по плечу.

— Давненько я так не смеялся! — сказал Баклю, отряхивая сзади брюки.

— Расскажи-ка нам об этом, малыш! — попросил повар, награждая меня тумачом.

Но не дал мне и рта раскрыть.

— Ох, уж эти мне белые! — воскликнул он. — У них прямо-таки пристрастие все одевать, даже...

Он опять расхохотался.

— А зачем это нужно? — спросил Баклю с притворным простодушием.

— Говорят, чтобы лучше получалось... Они надевают это, как надели бы шлем или перчатки... — говорил повар, понимающе подмигивая и издеваясь над моим неведением.

— Вот именно, — подтвердил Баклю. — Тоже как-никак одежонка...

Они опять засмеялись.

— Ну, я пойду, — сказал Баклю, — у меня две корзины грязного белья...

Повар засопел и вытер нос тыльной стороной руки.

— Знаешь, малыш, — заговорил он, обращаясь ко мне, — люди повсюду смеются, даже у изголовья покойника. Надеюсь, ты не сердись на меня за этот чертов смех? Я просто не мог совладать с собой.

Он опять улыбнулся, затем лицо его стало серьезным.

— Понимаю, почему госпожа рассердилась на тебя, — продолжал он, — ты залез слишком далеко со своей щеткой. Видишь ли, получилось так, словно ты обнаружил присутствие господина Моро в резиденции... Женщины не прощают этого. Лучше бы ты заглянул ей под юбку. Белая женщина не допустит, чтобы ее бой делал такие открытия...

Он боролся с собой, чтобы не расхохотаться. Могучая нижняя челюсть повара дрожала. Он повернулся ко мне спиной, голова его тряслась от сдерживаемого смеха.

Госпожа вышла на крыльцо. Она открыла рот, но не промолвила ни слова. Наконец позвала меня и велела принести щетку. Она вырвала ее из моих рук и вошла в дом. Минуту спустя я услышал шуршание соломенной щетки по цементному полу.

— Видно, она сама подметает пол в спальне! — сказал повар. — Что бы ей самой сварить себе обед!

— Она сама подметает пол в спальне! — крикнул Баклю на нашем языке. — Что бы ей самой вымыть свое белье! В одиннадцать часов, когда госпожа кончила одеваться, за ней заехала в машине докторская жена.

— Я не вернусь к обеду, — сказала госпожа с легкой дрожью в голосе.

Машина выехала на улицу. Едва она скрылась за поворотом, как Баклю и часовой присоединились к нам. Они опять начали смеяться.

— Я все слышал! — сказал стражник. — Я чуть было не лопнул вместе с этим проклятым поясом!

Он оттянул двумя пальцами патронташ.

— Чего только не придумают белые! — сказал повар. — Мало того, что они необрезанные, — подавай им еще какие-то обертки!

— Те, что продаются в аптеках, мешают их женщинам беременеть, — сказал Баклю. — Они употребляют их также, когда спят с нашими женщинами, чтобы не заразиться. Мне это говорил санитар...

— Так зачем же они занимаются такими делами? — спросил стражник. — Они сумасшедшие, эти белые... Можно ли в таких делах надевать на себя резину!

Они обсуждали этот вопрос все послеобеденное время. Госпожа вернулась в четыре часа. Она прошла по двору с опущенной головой, заперлась у себя в спальне и вышла только к ужину. Она едва притронулась к дышленку, съела банан и выпила, как обычно, чашку кофе. Приняла какие-то таблетки и велела нам не уходить до полуночи.

Когда мы кончили работу, она уже храпела. Часовой помог мне закрыть окна и двери резиденции.

Сегодня утром повар привел госпоже горничную, которую она поручила ему найти. «Это двоюродная сестра племянницы зятя моей родной сестры», — сказал он.

Новая горничная — молодая потаскушка, она совсем расплылась книзу, но грудь у нее еще хороша. Девушка была босиком, помимо набедренной повязки она надела жакет, а единственная золотая серьга горделиво свидетельствовала о ее бедности. Это настоящая дочь нашего народа — толстые губы, непроницаемые, как ночь, глаза и сонный вид. Она ждала госпожу, сидя на нижней ступеньке лестницы и держа травинку во рту.

Повар рассказал нам, что он узнал лишь вчера вечером об их родстве. Да, это действительно двоюродная сестра племянницы зятя его родной сестры.

— Она горожанка, — сказал он, — и не хочет возвращаться в родную деревню. Белые без ума от ее зада, вы заметили, какие славные выпуклости обтягивает ее набедренная повязка? Они похожи на ляжки слоненка. Но девушка никогда не разбогатеет! Ее родители съели, верно, бродячего торговца; она не может усидеть на месте. Она жила возле моря с одним белым. Он хотел жениться на ней и увести к себе на родину. Знаете, когда белый жепится на нашей девушке, она чаще всего лакомый кусок. Но этот белый был мозгляк — его хватило лишь па один зуб двоюродной сестре племянницы зятя моей родной сестры... Говорят, он проводил целые дни, держа Кализию — так ее зовут — на своих тощих коленях. А затем, в одно прекрасное утро, Кализия ушла, неизвестно почему, — так улетает перелетная птица в конце жаркой поры... Белый плакал, он сделал все возможное, чтобы разыскать ее. Опасались за его рассудок, и тамошний комендант

отослал соотечественника на родину. Кализия, которой опротивели белые, долго жила у моря с негром, знаете, с одним из тех, у кого даже кожа соленая. Но ушла и от него. Она жила с другими белыми, с другими неграми, с другими мужчинами, которые не были ни вполне черными, ни вполне белыми. Затем вернулась в Данган. Так возвращается на землю птица, уставшая летать на просторе.

— И ты выбрал ее, чтобы прислуживать госпоже? — спросил Баклю, взбудораженный всей этой историей. — Но ведь в нашем квартале нет недостатка в женщинах...

— Госпожа велела подыскать ей горничную опрятную, не воровку и немного знающую по-французски, — ответил повар. — Трудно было найти что-нибудь более подходящее. А белых она знает лучше, чем мы все, вместе взятые, — проговорил он, поочередно глядя на пас.

— Боюсь, как бы эта женщина не вызвала передраги, из-за которой мы все попадем в тюрьму, — сказал Баклю. — Живой человек не может видеть ее, не...

Повар рассмеялся.

— Ты говоришь о коменданте или о ком-нибудь из нас? — спросил он. — Я хорошо знаю коменданта, это один из тех белых, которые всегда сумеют обуздать себя, даже если им очень хочется... Впрочем, жена его здесь, да и резиденция невелика. Комендант же не станет валяться по канавам...

— В таких делах чин не может служить помехой, — сказал Баклю, — особенно когда речь идет о белых. Вы же видите, что госпожа...

— Поживем — увидим! — заметил повар. — У женщин шух на такие вещи. Уверяю вас, если госпожа возьмет Кализию, значит, она не считает ее опасной.

В девять часов госпожа еще спала. Солнце начинало припекать. Оно восхитительно жгло тело. Кализия обна-

жила плечи. Она уткнулась подбородком в колени и задремала по примеру крошечной ящерицы, примостившейся у ее ног. Баклю лежал ничком позади прачечной, а я сидел на нижней ступеньке лестницы и нежился на солнышке в ожидании, когда проснется госпожа.

Вдруг окно спальни распахнулось. Сон сразу соскочил с меня. Госпожа протерла глаза и застегнула верхнюю пуговицу пижамы. Она потянулась, подавила зевок и окликнула меня. Не отворив двери, она обратилась ко мне из-за перегородки. Велела переменить воду, приготовленную для душа. Пожелала мыться холодной водой. В одиннадцать часов, свежая, как только что вылупившийся цыпленок, она проверяла, хорошо ли я убрал комнаты. Она бросила взгляд на меню, посмотрела, много ли осталось вина, выпила стакан лимонного сока, который я готовил ей каждое утро, и стала просматривать объемистую почту, ожидавшую ее на диване.

Вошел повар. Госпожа раздраженно спросила, что ему нужно.

— Горница присла... — сказал он, кланяясь, и рот его растянулся до ушей.

Повар мастер кланяться. Надо видеть, как он приветствует госпожу или коменданта. Сначала у него еле заметно вздрагивают плечи, затем дрожь охватывает все тело. Словно под влиянием таинственной силы, он начинает сгибаться. Руки прижаты к бокам, живот втянут, голова падает на грудь. В то же время на щеках появляются ямочки от сдерживаемого смеха. Когда его тело принимает форму дерева, смертельно раненного топором, повар расплывается в улыбке до ушей.

Госпожа сказала ему недавно, что он держится как светский человек, и теперь повар пыжится от гордости после каждого поклона.

Он не заметил холодного взгляда госпожи поверх письма, которое она лихорадочно читала.

— Где же горничная? — спросила она.

Повар выбежал из комнаты и позвал Кализию. Та протяжно хмыкнула и застегнула жакет. Вынула изо рта травинку и стала спокойно взбираться по лестнице. Казалось, эта женщина изнемогает от усталости. Она избегала всякого лишнего движения, и ноги ее задевали за все ступеньки, пока она поднималась. На пороге она обернулась и скосила на нас глаза. Госпожа опять погрузилась в чтение. Она держала письмо в одной руке, а другой время от времени стряхивала пепел с сигареты. Повар стоял навтыжку рядом с ней, задрал голову к потолку.

Госпожа дочитала наконец письмо. Она вздохнула и посмотрела на нас.

— Позови эту женщину, — обратилась она к повару.

Он поманил Кализию. Та кашлянула, вытерла губы ладонью и вошла в гостиную.

Госпожа отложила почту и скрестила ноги. Кализия воззрлась на нее с тем бесстыдным равнодушием, которое неизменно выводит из себя госпожу. Контраст между обеими женщинами был разителен. Наша женщина держалась спокойнее, — казалось, ее спокойствие ничто не может нарушить. Она смотрела на госпожу равнодушно, с тупым видом овцы, пережевывающей жвачку. Госпожа покраснела, затем побледнела. Ее платье внезапно потемнело под мышками. Это всегда предшествовало ее гневным вспышкам. Она презрительно взглянула на Кализию, опустив уголки рта, потом встала. Кализия была немного выше нее. Госпожа принялась осматривать ее со всех сторон. У Кализии был теперь совершенно отсутствующий вид, хотя она и притворялась, что смотрит на свои руки. Госпожа вновь уселась против нее и топнула ногой. Повар

шелкнул каблуками. Кализния посмотрела на своего родственника и мимоходом бросила равнодушный взгляд на госпожу, которая вспыхнула до корней волос. Я отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

— Господин Тунди! — взвизгнула госпожа.

Она зажгла сигарету, сделала затяжку и, выпустив дым, расслабила мускулы лица. Капельки пота выступили у нее на лбу.

— Ты уже служила горничной? — спросила она Кализнию.

— Дааа... — протянула Кализния, улыбаясь.

— Где?

— Там... возле моря... — ответила Кализния, указывая рукой на запад, в сторону моря.

Я чуть не расхохотался. Я закурил губу. У Кализнии был, видно, особый взгляд на ремесло горничной. Я вмешался в разговор и сказал госпоже, что задавать вопрос следует иначе, например: «Служила ли ты боем у белой хозяйки?» Кализния сказала «А!» и объяснила на нашем языке, что без меня они с госпожой еще долго продолжали бы этот разговор глухих.

Кализния призналась, что никогда не была горничной, но сделает все возможное, чтобы угодить госпоже, так как отныне только трудом хочет зарабатывать себе на жизнь... Это полупризнание, видимо, тронуло госпожу. Она истолковала его как поражение Кализнии, и к ней сразу вернулась обычная надменность.

— Посмотрим, удастся ли тебя оставить, — сказала она. — Тунди покажет тебе, что надо делать.

И она жестом отпустила нас, потом крикнула вдогонку:

— Можете начинать сейчас же!

Кализния последовала за мной в спальню госпожи.

— Эти белые богаты! — сказала она, оглядев компа-

ту.— Я люблю работать у богачей. Знаешь, если белый беден, он скуп, как законоучитель... Однажды я была подружкой белого, который считал куски сахара и мерил длину оставшегося хлеба. А что, у хозяев щедрая рука?

— Да, когда они не сердятся,— ответил я.— Впрочем, сама узнаешь.

— Хозяйка красива! — сказала Кализия.— Белая женщина с такими глазами, как у нее, не проживет без мужчины и... (она посмотрела в щелку двери на госпожу) и двух недель... Держу пари, что у нее есть любовник. Кто он?

— Сама узнаешь...— ответил я.

— Ах ты негодник, развратник, упрямец! — воскликнула она.— Такие вот узкие бедра часто бывают приютом огромных змей,— заметила она, ущипнув меня за ляжку.— Госпоже это, конечно, хорошо известно!

Она обхватила меня рукой и испустила гортанный крик.

— Вот видишь, я была права,— продолжала она,— ты уже отведал белого мяса... уверена в этом. Так это ты, да, ты — любовник хозяйки! Я сразу поняла это! Стоило увидеть ее глаза, когда она разговаривала с тобой.

Это уже было слишком. Такая невоспитанность, такая бесцеремонность в конце концов вывели меня из себя. Я гневно взглянул на нее, и ее возбуждение сразу прошло.

— Я не хотела сердить тебя, брат мой,— проговорила она так сокрушенно, что мой гнев утих.

— Ничего,— ответил я.— Только ты зашла слишком далеко.

Мы улыбнулись. Она подмигнула мне, и мы перевернули тюфяк.

— Как ты находишь ее? — спросила она, помолчав.

— Кого?

— Госпожу.

Я неопределенно махнул рукой.

— Сколько раз в неделю вы занимаетесь любовью? — стала допытываться она.

Я развел руками от удивления.

— Послушай, — сказал я, — если ты не можешь молчать, возвращайся восвояси! Ты сошла с ума, но я-то не сумасшедший...

— Вот те на! — воскликнула Кализия. — Значит, между вами ничего нет? Однако ты мужчина... Там, возле моря, бои спят со своими хозяйками, так принято... Здесь вы слишком боитесь белых... Это глупо. Уверю тебя, что...

— Ладно, ладно, — прервал я ее.

Мы застелили кровать покрывалом. Госпожа пошла в спальню, но ничего не сказала о нашей работе.

— Вот это женщина! — опять похвалила ее чертовка Кализия, когда мы остались одни.

Кализия будет приходить в резиденцию каждый день на два часа. Она все же славная девушка.

* * *

Сегодня после обеда внезапно вернулся комендант. Мы не ждали его раньше конца недели. Госпожа и та была озадачена.

Комендант осунулся. В своих измятых грязных шортах он походил на мальчишку, убежавшего из школы. Он не сказал ни слова, когда вышел из машины. Взял портфель, коснулся губами лба госпожи и, тяжело ступая, направился в свою комнату. Госпожа приказала нам разгрузить машину и тотчас же последовала за ним. Она оставила дверь открытой.

Она окликнула мужа, спросила, что случилось. Комендант что-то пробурчал в ответ, жена засыпала его вопро-

сами. В конце концов он сказал, что вряд ли она очень беспокоилась о нем — вид у нее цветущий. Она возразила коменданту, что он несправедлив.

Она растянулась в гамаке на веранде и о чем-то задумалась. Отдохнув, комендант заказал душ. Вскоре, вымытый, напомаженный, он обрел свой обычный вид. Теперь на нем был белый льняной костюм. Он пробежал деловую почту, которую рассыльный приносил в его отсутствие. Госпожа молчала. Комендант, казалось, вовсе позабыл о ней. Он вышел, прогулялся по саду, засунув руки в карманы, потом вернулся на веранду, хотел подойти к жене, но свернул в гостиную.

Госпожа спрыгнула с гамака и, в свою очередь, вышла в сад. Комендант позвал меня и велел сходить за госпожой. Она пристально смотрела перед собой, сжимая двумя пальцами подбородок. Она не заметила моего приближения и вздрогнула, когда я кашлянул. Молча выслушала меня и последовала за мной.

Когда комендант окликнул меня, мне показалось, что он неожиданно для себя принял решение поговорить с госпожой. Он лежал на диване и что-то держал в руке. В это время он обычно пил аперитив. Госпожа вошла. Я, как всегда, задержался в гостиной возле холодильника. Комендант не смотрел на жену, казалось, он был погружен в какие-то горькие мысли.

— Что с тобой? — спросила госпожа, дотронувшись до его плеча.

Комендант отстранился, но, заметив меня, позволил жене прикоснуться к нему. Он по-прежнему держал под столом сжатую в кулак руку. Мы с госпожой не спускали глаз с этой руки. Он поднял стакан свободной рукой и одним духом опорожнил его. Потребовал коньяку:

— Коньяку, черт возьми!

Он наполнил два стакана и выпил их залпом. Госпожа хотела остановить его. Комендант раздраженно отдернул руку. Госпожа убежала в спальню.

Комендант хотел было встать, но поскользнулся и рухнул на пол. Я кинулся, чтобы помочь ему. Он принялся всячески поносить меня. Никогда я не видел его в таком состоянии, даже до приезда госпожи. С грехом пополам ему удалось сесть. Он долго созерцал потолок, скрестив на животе руки. Госпожа пулей вылетела из спальни и велела мне уходить.

— Нет, пусть остается! — варевел комендант. — Оставайся!

Он пересел на край дивана и уставился на жену, словно окаменевшую посреди гостиной. Вдруг он с размаху что-то бросил ей под ноги. Предмет упал на пол и покатился к холодильнику. Это была зажигалка... г-на Моро. Я видел эту зажигалку только раз, когда г-н Моро обедал в резиденции, но сразу узнал ее.

Госпожа схватилась руками за голову и упала в кресло.

— Что ты на это скажешь, моя милая? — крикнул комендант, указывая на зажигалку.

При этих словах плечи госпожи задрожали, но она взяла себя в руки и гордо подняла голову.

— Бой, оставь нас! — сказала она властно.

— Оставить нас! — вскричал комендант. — Разве у нас есть секреты? Все данганские бои осведомлены об этом! Да, ты спишь с Моро! А еще считала его неотесанным!..

Госпожа встала. Она принялась шагать по комнате, ломая руки. Комендант следил за ней взглядом, полным ненависти. Она ходила взад и вперед, поглядывая на зажигалку. Повернулась на каблуках и встала прямо перед мужем. Комендант тотчас же устремил взгляд вверх ее плеча, затем отвернулся к открытому окну.

— Отныне мы чужие,— проговорил он.— Ты недолго ждала, чтобы изменить мне даже здесь... Туземцы узнали об этом много раньше меня!

Он слабо усмехнулся и продолжал:

— Для них я теперь только «Ngovina ya ngal a ves zut bisalak a be metua»! Не понимаешь? Конечно, нет! Ты всегда презирала туземные наречия... Что бы я ни делал, отныне я для них лишь комендант, жена которого валяется на спине в канавах и машинах.

— Неправда! — закричала она.— Неправда!

Она разрыдалась.

— Я не знал, что имею честь быть рогоносцем и что обязан этой честью господину Моро! — сказал комендант, с глубоким презрением произнося слово «господин». — Да, на этот раз ты нашла себе любовника в грязи! — Помолчав, он продолжал: — Ты не поверишь, до чего я себе противен...

Госпожа все еще плакала. Комендант снова растянулся на диване.

— Послушай, дорогой... — сказала госпожа, открывая лицо, залитое слезами.

— Знаю, знаю,— перебил ее комендант, принужденно смеясь,— песенка мне знакома! Твой главный недостаток! Потеря контроля над собой! Конфликт духа и плоти! Вот что, я сыт этим по горло! Слышишь? По горло! Ты всегда принимала меня за дурака! А твои поездки в машине по четвергам! А этот Моро, о котором ты упоминала лишь презрительно и с таким презрением! Ты пригласила его под предлогом, что нам не следует пренебрегать им, хотя он человек не нашего круга! Милочка моя, я уже понимал, куда ты клонишь... Туземцы уже звали меня «Ngovina ya ngal a ves zut bisalak a be metua»! Только я не знал, от ли это!.. Ты служил им посредником? — крикнул он,

оборачиваясь ко мне.— Небось делал это ради сигарет Моро и подачек госпожи, а?

Он горестно покачал головой и снова упал на диван. Госпожа по-прежнему плакала. Часы в резиденции приближились полночь.

Командант искоса посмотрел на меня, и я почувствовал взгляд госпожи, хотя лицо ее было закрыто руками. Я снял фартук. Прежде чем выйти на веранду, где я каждый вечер вешал его после работы, я поклонился и пожелал им спокойной ночи.

Командант завозился на диване и повернулся лицом к стене. Госпожа заперла дверь, едва я переступил порог.

Снаружи была ночь, словно созданная для слепцов. Ночь без единой звездочки, без единого светляка...

* * *

Калпизия слушала меня, открыв рот. Изредка она щелкала пальцами в знак удивления. Когда я закончил рассказ о сцене, разыгравшейся в моем присутствии, она с опаской взглянула на меня и отвернулась.

— На твоём месте,— заговорила она,— я сразу ушла бы, не стала дожидаться, пока река поглотит меня. Наши предки говорили: спасаться надо вовремя, когда вода доходит лишь до колен. Пока ты здесь, командант не сможет забыть. Глупо, конечно, но с белыми это так... Для него ты... как бы это сказать... словно глаз колдуна, который все видит и знает. Вор или человек, за которым есть грешок, не может быть спокоен под этим взглядом...

— Но не я один знаю, что госпожа спит с господином Моро... Командант сам сказал, что все туземцы знают об этом...— возразил я, хотя и не был вполне уверен в правоте своих слов.

Кализния пожала плечами.

— Это неважно...— сказала она.— В резиденции ты вроде нашего... как бы это сказать... вроде нашего представителя. Мой сородич повар и Баклю в счет не идут: они мужчины лишь потому, что носят штаны... Если б я вздумала по глупости выйти замуж, то выбрала бы такого мужчину, как ты... О чем это я говорила?.. Да, теперь, когда тебе известны все их дела, хозяева не забудут слушавшегося, пока ты здесь. И этого они тебе не простят. Разве могут они по-прежнему чваниться перед тобой и пускать тебе дым в лицо, тебе — человеку, который знает! Они думают, что это ты все разболтал, и волей-неволей чувствуют, что ты их судишь... Они не могут допустить этого... На твоём месте, клянусь тебе, я ушла бы, даже не попросив жалованья.

Кализния смотрела на меня так, словно я тут же должен пуститься наутек. Она хлопнула в ладоши, затем перевязала набедренную повязку, сделав большой бант под жакетом.

— У меня все дрожит внутри,— сказала она,— так бывает со мной перед дурной вестью или несчастьем... Я это заранее чувствую...

Она избегала смотреть на меня, пока мы шли рядом, направляясь в резиденцию. Чтобы отделаться от меня, она забежала в рощу и крикнула оттуда:

— Ступай один! Я побеседую с господином Ватерклетом, перед которым снимают не шляпу... а набедренную повязку!

И исчезла за кустом.

Боялся ли я? Трудно сказать. То, что сказала Кализния, не казалось мне странным. О некоторых вещах не хочется думать, но это не значит, что о них забываешь. Выйдя вчера вечером из резиденции, я все время оглядывался.

Мне казалось, что кто-то крадется за мной в темноте. Когда я пришел домой, меня трясло как в лихорадке. Вытянувшись на циновке, я вновь пережил всю эту сцену. Нет никакого сомнения, что комендант привык к изменам жены. Понимаю теперь причину его простодушия, его намеренной глухоты, когда мои соплеменники, поклонившись ему, кричали вдогонку: «Ngovina ya ngal a ves zut bisalak». Он же начинал свистеть или высовывался из машины и прикладывал указательный палец к шлему, желая показать, что ничего не понимает.

* * *

Сегодня — никаких происшествий, если не считать растущей неприязни коменданта. Он совсем обезумел от злости. Опять начались брань и пивки. Ему хочется унижить меня, а ничего нового придумать он не может. Он забывает, что выносить все это входит в мои обязанности, а ремесло боя уже не таит для меня ничего нового. Интересно, почему он тоже зовет меня теперь «господином Тунди»?..

* * *

Я застал коменданта и госпожу в то время, как они целовались. Мне казалось, что у него больше выдержки. Он выглядел как мальчишка, которого застали за кражей того, чем он явно пренебрегал до сих пор. Теперь я понимаю, почему госпожа может делать все, что ей вздумается.

— Ты нас... ты подсматриваешь за нами, болван! — варевел комендант, с трудом переводя дух.

За целый вечер он ни разу не посмел взглянуть на меня, тогда как госпожа, слегка улыбаясь, стучала пальцами по столу и посматривала на нас, прищурив глаза.

* * *

Разговаривая с женой, комендант больно наступил мне на руку. Ему удалось сделать это в ту минуту, когда я наводил глянец на его сапоги. Коменданту изменяет память. Он позабыл, что однажды уже сыграл со мной такую шутку, и я не закричал. Он снова ушел, не оборачиваясь, бодрой походкой человека, весьма довольного собой.

* * *

Зарывшись носом в газету, комендант сидел на диване рядом с женой и делал вид, что читает. Я кончал убирать со стола, изнывая от послеобеденного зноя. За все это время комендант не сказал ни слова. Зато он мастер бросать многозначительные взгляды, особенно когда злится. Все они предназначались мне.

За столом госпожа расспрашивала его об утренних делах, но он молчал. Видя, что ее усилия тщетны, она погружилась в задумчивость и выходила из нее лишь для того, чтобы положить себе на тарелку какой-нибудь лакомый кусочек. Теперь она читала, сидя рядом с мужем. Я замечал, как поверх газеты, которую он просматривает, хмурятся его брови.

— Ну и жара! — сказал он, расстегивая воротник рубашки. — Ну и жара!

— Почему бы тебе не снять рубашку? Останешься в майке, — предложила госпожа.

Он вытащил рубашку из шорт, но снять ее не пожелал. Жена равнодушно смотрела на него. Затем она углубилась в роман.

Комендант потребовал стакан воды. Когда я подавал ему пить, он спросил, кипяченая ли это вода.

— Конечно, господин, — ответил я.

Он взял стакан двумя пальцами, поднес его к глазам, вытянул руку, поднял стакан над головой, снова приблизил к глазам, понюхал, сморщился, поставил стакан на поднос и потребовал другой.

Жена чуть заметно пожала плечами. Я подошел к холодильнику и, воспользовавшись минутой, когда белый не смотрел на меня, плюнул — о, самую малость! — в чистый стакан, куда и налил воды. Он выпил ее залпом и поставил стакан на поднос, не глядя на меня. Нетерпеливым жестом велел мне отойти.

Он сложил газету, потянулся и встал. Принял шумно втягивать в себя воздух, словно его беспокоил неприятный запах. Голова его вертелась из стороны в сторону, наподобие флюгера. Вдруг он застыл на месте, повернувшись к окну, ставень которого захлопнул ветер.

— Пахнет... пахнет... отсюда... Открой ставень, — приказал он.

Ноздри у госпожи расширились, она понюхала воздух, изящно изогнув стан. Взглянула на мужа, стоявшего к ней спиной, и вновь принялась за чтение. Открыв ставень, я прошел мимо коменданта. Он знаком подозвал меня.

— А может, это от тебя... — сказал он, дергая носом. — Может, от тебя...

Госпожа подняла глаза к небу. Комендант отослал меня кивком головы. Он взял с дивана газету, чтобы заложить ею ставень, хотя тот и не думал закрываться.

— Когда в доме негры... все окна должны быть настежь... — говорил он, стараясь получше засунуть газету.

Он вышел на веранду и растянулся в шезлонге, обнажив грудь.

Когда все было прибрано, я поклонился госпоже и решил удрать на кухню. Проходя по веранде, я чувствовал, что комендант смотрит мне вслед.

Меня арестовали сегодня утром. Весь избитый, я пишу эти строки в хижине начальника караула, который должен передать меня г-ну Моро, как только тот вернется из служебной поездки.

Это произошло, когда я подавал завтрак господам. Инженер-агроном, сопровождаемый Птичьей Глоткой, оставил машину с оглушительным скрежетом тормозов. Оба взбежали по лестнице и извинились перед комендантом, что вынуждены так рано потревожить его.

— Мы приехали из-за вашего боя, — сказал Птичьей Глотка, повернув шею в мою сторону.

Кофейник выскользнул у меня из рук и разбился о цементный пол.

— Знает кошка, чье мясо съела, — заметил Птичьей Глотка, подзадоривая себя. — Ведь правда, дружок?

Комендант отодвинул чашку, вытер губы и обернулся ко мне. Госпожа улыбалась, кривя губы. У любовника Софьи были несколько растерянный вид. Он попросил у господина позволения закурить, но никак не мог зажечь сигарету. Птичьей Глотка один сохранял спокойствие.

— Вот что... — начал он. — Кухарка господина Маньоля сбежала, прихватив заработную плату рабочих...

— Я заметил это в шесть часов утра, — дрожащим голосом перебил его любовник Софьи. — С моего письменного стола исчезла шкатулка. Я позвал кухарку-боя, вы знаете ее, — сказал он, склоняясь перед комендантом. — Ее комната оказалась пустой. Потас... — Он кашлянул, заглушив готовое вырваться слово, и покраснел. — Она сбежала, — продолжал он, — захватив шкатулку, мое платье и свое барахло...

Судя по его взгляду, он готов был оторвать мне голову.

— Говорят, она невеста-любовница вашего боя,— сказал Птичья Глотка, гордый словом, которое он только что изобрел.— Как только господин Маньоль сообщил мне об этом, я велел закрыть все проходы через границу. Мои люди обыскивают туземный квартал... Мы подумали, что ваш бой...

— Сколько денег было в шкатулке? — спросил комендант.

— Сто пятьдесят тысяч франков,— ответил нижпоручиком,— сто пятьдесят тысяч...

— Понимаю,— проговорил комендант, смотря на меня.

Жена что-то шепнула ему на ухо. Он вытаращил глаза. С минуту они спорили. Комендант откашлялся и ткнул в меня пальцем.

— Что ты на это скажешь?

— ...

— Знаешь эту особу?

— Да, господин комендант.

— Где она?

— ...

Комендант смотрел на меня с довольным видом, по своему обыкновению надув щеки и подняв одно плечо выше другого. После препирательства с женой он потер руки и продолжал, не глядя на меня:

— Ну что ж, теперь сам улаживай дело с этими господами...

Птичья Глотка повертел шеей, любовник Софи вздохнул. Госпожа позвала Кализию.

— Отдай ей фардук,— сказал комендант, не глядя на меня.

— Пошевеливайся! — крикнул Птичья Глотка, вставая.

Любовник Софи вышел первым. Гости еще раз извинились перед комендантом и его женой. Я последовал за

обоими белыми. Крупные слезы катились по щекам Калитки, когда она надевала мой фартук, доходивший ей до щиколоток. Подпрыгивая, как девочка, госпожа побежала в сад.

Баклю и повар еще не приходили. Часовой проклял на нашем языке всех белых на свете.

Птичья Глотка и любовник Софи приехали в джипе. Чтобы я не убежал, Птичья Глотка сел вместе со мной в кузов. Любовник Софи вел машину. Мы ехали по направлению к полицейскому участку. Птичья Глотка держал меня за пояс. Проницательно смотря на меня, он время от времени наступал мне на большой палец ноги. Инженер-агроном пустил машину полным ходом. Джип подпрыгивал, сея панику на своем пути.

— Что случилось? — кричали на нашем языке мои соотечественники, махая руками.

Тогда Птичья Глотка сильнее дергал меня за пояс, а его подбитый гвоздями сапог поднимался по моей ноге. Мы проехали по торговому центру, свернули к сторожевому посту и остановились перед небольшим сараем, крытым ржавым железом, над которым развевался трехцветный флаг. Это был полицейский участок. Птичья Глотка выскочил из машины и потащил меня за собой. Я тяжело упал к его ногам. Колени мои уже кровоточили. Подбежал стражник и застыл, вытянув руки по швам. Птичья Глотка толкнул меня к нему. От избытка усердия стражник изо всех сил ударил меня ребром руки по затылку. Передо мной сверкнула лишь огромная желтая искра.

Очнувшись, я увидел, что лежу на земле. Птичья Глотка сидел верхом на моей спине и делал мне искусственное дыхание.

— Все в порядке, — сказал любовник Софи, переворачивая меня, — он приходил в себя...

Меня подняли. Птичья Глотка спросил, где Софи.

— Верно, в Испанской Гвинее, — ответил я.

— Почему ты знаешь? — взревел ее любовник.

— Она мне говорила...

— Когда? Когда же?

— Восемь месяцев назад...

— И ты знал о том, что она собирается сделать? — спросил Птичья Глотка.

— Нет, господин, — ответил я.

— Откуда же тебе известно, что она хотела бежать в Испанскую Гвинею?

— Она мне сказала... восемь месяцев назад, — повторил я.

— Однако ты был ее любовником?

При этих словах г-н Маньоль нахмурился. Он схватил меня за шиворот и посмотрел мне прямо в глаза.

— Признавайся! — заорал он, обдавая меня своим гниlostным дыханием. — Признавайся же!

Меня так и разбрызгал смех. Это до крайности удивило белых. Любовник Софи отпустил меня. Птичья Глотка пожал плечами.

— Такие женщины не в моем вкусе, — сказал я, обращаясь к Птичьей Глотке. — Нет, не в моем вкусе... Я слушал Софи, но не смотрел на нее.

Руки Маньоля задрожали. Я подумал, что он, того и гляди, бросится на меня. Лицо его судорожно перекопилось. С языка сорвались какие-то бессвязные слова.

— С этим парнем не оберешься хлопот, — сказал Птичья Глотка. — Боюсь, из него ничего не вытянешь. Сегодня ночью мы сделаем у него обыск...

Он позвал начальника стражи и что-то сказал ему на ухо. Тот надел на меня наручники и толкнул перед собой. Мы вошли в хижину.

Начальника стражи зовут Мендим ме Тит. Я никогда не слышал такого смешного имени. Оно означает в переводе «мясная вода».

Этот человек — гиппопотам, с которым надо быть осторожным, если не хочешь тут же постучаться к апостолу Петру.

Служа в резиденции, я всегда здоровался с ним и старался вступить в разговор. Он слушал меня, заложив за спину огромные ручки, и так таращил глаза, словно хотел уловить каждое слово, слетавшее с моих губ. Порой он смеялся, этого я боялся больше всего. От смеха, похожего на рев слона, оживало его лицо, застывшее в постоянной гримасе, при виде которой у меня переворачивалось все нутро.

Он был не здешний. Его выписали откуда-то из Габона. Приезд его вызвал в Дангане сенсацию.

Как только мы вошли в хижины, стражник снял с меня наручники.

— Вот мы и встретились с тобой, Тунди! — сказал он, хлопая меня по плечу. — Здесь ты в безопасности, но когда тебя переведут к Морю!..

И он воздел руки. Приведший меня стражник щелкнул каблуками и вышел. Мендим ме Тит опять похлопал меня по плечу.

— Тебя еще не слишком пзукрасили, — сказал он, разглядывая меня. — Но здесь ты находишься именно для этого. Ничего, мы все уладим. Ты должен быть в крови, значит, надо смочить бычьей кровью твои шорты и фуфайку... Умеешь кричать?

Мы засмеялись.

— Для белых я должен быть беспощаден, хорошо, что их здесь нет.

Мы провели день, играя в карты.

Было около одиннадцати часов, когда Птичья Глотка и любовник Софи приехали на сторожевой пост. Измазавшись бычьей кровью, я лег и застал...

Птичья Глотка направил мне прямо в лицо электрический фонарь и схватил меня за волосы. Не знаю, как мне удалось заплакать по-настоящему. Правда, я упражнялся еще до этого, испуская жалобные крики. Но когда они приехали, я расплакался так, как не плакал никогда в жизни.

— Хорошо, — сказал Птичья Глотка, отпуская меня, — теперь можно сделать у него обыск. — Где Софи? — снова спросил он, сжав мою шею.

— Он упрямый, — заметил любовник Софи, чтобы подзадорить приятеля.

— Посмотрим, — сказал Птичья Глотка, ударив меня ногой по крестцу.

Мне велели сесть в кузов джипа вместе с Мендпом. Птичья Глотка поместился рядом с любовником Софи. Джип тронулся. Фары прокладывали светлую дорогу во мраке, под покровом которого спал Дангап. Они осветили на мгновение последний дом европейского квартала. Возбравшись на вершину соседнего холма, мы стали опускаться по противоположному склону, у подножия которого на высохшем болоте расположен туземный квартал. Вскоре мы увидели его. Привлеченные необычным светом фар, козы сбивались в кучу посреди освещенного участка. Нервничая, любовник Софи круто поворачивал руль, чтобы избежать столкновения. Но это ему надоело, и, направив машину прямо на животных, он проехал по лабиринту полуразвалившихся хижин, среди которых я не без труда узнал свое жилище.

— Вот мой дом, тот, что освещен фарами,— сказал я. Мы остановились. Птичья Глотка прошептал мне на ухо:

— Притворись, будто возвращаешься с работы... Не вздумай шутки шутить, не то...

Он подтолкнул меня к двери. Я постучался. Тишина, потом раздался знакомый ворчливый голос.

— Это я, Тунди! — крикнул я.

— Откуда ты в такую пору? — спросил ворчливый голос, приближаясь к двери.

— С работы,— ответил я.

— Это от тебя такой яркий свет? Уж не положил ли ты ненароком солнце в карман?

Стукнула деревянная щеколда, и дверь отворилась. Ослепленный светом фар, мой зять невольно поднес руку к глазам и поправил пабедренную повязку.

— Ты мог бы сказать, что приехал не один... Но... ты с белыми...

Он широко улыбнулся и поклонился Птичьей Глотке и любовнику Софи. Он повернулся ко мне и закрыл рот ладонью при виде пятен крови на моей фуфайке.

— Что случилось, что случилось, брат мой? — спросил он в ужасе.

— Ничего, это я, Жозеф... Вам следовало бы затушить головешки, хижина полна дыма...

— Это она?! — крикнул Птичья Глотка, хватая меня за плечо.

— Нет, моя сестра,— ответил я, громко расхохотавшись.— Всего только моя сестра...

— Пусть выйдет на свет! — раздраженно заорал Птичья Глотка.

— Иди, покажись,— сказал ей муж.

Сестра выступила из мрака, закутавшись в простыню

сомнительной чистоты. Птичья Глотка вопросительно взглянул на инженера.

— Не та! — нетерпеливо ответил любовник Софи.

— Что ты сделал, Жозеф? — спросила сестра. — Почему белые приехали с тобой?

В ее голосе слышались слезы.

— Что ты сделал, боже мой? — настаивала она. — Что ты сделал?

— Ничего, — ответил я. — Ничего...

Она подошла ко мне, потрогала мою фуфайку. Испустила громкий вопль, нарушивший тишину ночи.

— Что случилось? Кто умер? — спросил чей-то голос.

— Белые приехали за Жозефом, — причитала сестра. — Они убьют его... Спина у него вся в крови...

Как ни странно, весь туземный квартал оказался на ногах. Чувствовалось, что никто не спит в хижинах. Люди окружили нас плотным кольцом. Завернувшись в одеяла или куски материи, мои соотечественники теснились вокруг. Особенно неспосны были жепщины. Они рвали на себе волосы, пронзительно крича, меж тем как сестра без устали вопила, что белые убьют ее брата, ее единственного на свете брата.

Мне было неловко. Этот обычай без нужды оплакивать родных и знакомых до крайности раздражал меня.

Птичья Глотка потребовал тишины. Он вошел в толпу, размахивая плетью. Люди расступились. Он сказал что-то на ухо любовнику Софи. Подозвал стражника, который схватил меня за плечо. Мне запретили идти в хижину вслед за белыми.

— Все оставайтесь на улице! — приказал Птичья Глотка. — Мы сделаем обыск...

— Опять они перебьют мои горшки, — жаловалась сестра, — бедные мои горшочки...

Она хотела последовать за белыми, но стражник оттолкнул ее.

— Не смейте есть мои бананы! — не унималась се-стра. — Не хочу, чтобы Птичья Глотка ел мои бананы!

Смех прокатился по толпе. Стражник и тот приложил широкую ладонь ко рту, чтобы скрыть улыбку.

Белые неистовствовали в хижине. Ударами ног они выкидывали во двор все, что им попадалось. Судя по шуму, казалось, что в хижине бушует гроза. Вытащили наружу тюфяк из сухих банановых листьев, зашптых в старую мешковину. Птичья Глотка вынул перочинный нож, разрезал тюфяк и стал тщательно рассматривать каждый сухой лист. Стражник и любовник Софи последовали его примеру. Но вскоре белые бросили это занятие. Любовник Софи первый встал на ноги и вытер пальцы носовым платком. Птичья Глотка подозвал моего зятя.

— Понимаешь по-французски? — спросил он.

Тот отрицательно покачал головой. Птичья Глотка повернул шею к стражнику, который щелкнул каблуками и встал между белым и моим зятем.

— Спроси у него, знает ли он Софи, — приказал Птичья Глотка стражнику.

Стражник повернулся к моему зятю.

— Белый спрашивает, известно ли тебе, что женщина, которую мы разыскиваем, любовница Тунди? — спросил он на нашем языке.

Зять тут же поднял правую руку. Два пальца — большой и указательный были прижаты к ладони, три остальные гордо смотрели вверх. Это значило, что он клянется святой троицей говорить только правду. Он облизал губы и сказал хриплым басом, что между Софи и мной не было ровно ничего, «пусть бог разразит его на этом самом месте», если он лжет.

— Да убьет он меня! — крикнул он.

Стражник сказал белым, что мой зять добрый христианин. Те с удивлением взглянули на переводчика. Стражник не дал смутить себя и продолжал:

— Он добрый христианин и не станет клясться понапрасну. Если он клянется, значит, взаправду ничего не знает...

— А его жена? — спросил Птичья Глотка, показывая пальцем на сестру.

Она тоже подняла правую руку. Любовник Софи не дал ей раскрыть рта.

— Ладно, хватит! — заорал он. — Значит, никто не знает Софи, даже ты, а? — продолжал он, смотря на меня.

— Скажи им, тот, кто укажет, где прячется Софи, получит подарок, — приказал Птичья Глотка стражнику, когда мы вышли из хижины.

Стражник хлопнул в ладоши и обратился к уже изрядно поредевшей толпе.

— Если вы хотите получить много денег, — крикнул он, — выдайте Софи... Быть может, вас даже наградят медалью...

— За кого принимают нас эти псобрезанные! — буркнул кто-то.

— Превосходно, — процедил Птичья Глотка, смотря на меня. — Знай же, пока идет следствие, тебя упрячут в надежное место. В машину!

Желая показать начальнику, что он хорошо выполняет свои обязанности, Мендим с силой толкнул меня к машине. Возмущенный ропот пробежал по толпе.

Птичья Глотка сел рядом с любовником Софи, который время от времени ударял кулаком по рулю, бормоча: «Вот оно что... вот оно что...» Он дал задний ход и резко рванул машину, вызвав панику среди жителей квартала.

— Дай ему двадцать пять ударов плетью, — приказал Птичья Глотка стражнику, когда мы вернулись на сторожевой пост.

Я лег ничком перед стражником. Птичья Глотка протянул ему плеть из кожи гинопотама, с которой никогда не растается. Стражник стал бить меня по спине. Вначале я не хотел кричать. Не надо было кричать. Я сжал челюсти, стараясь думать о другом. Передо мной возник образ Кализини. Ее сменил образ госпожи, затем отца... Все события этого дня промелькнули в моей голове...

Надо мной слышалось прерывистое дыхание Мендима.

— Кричи, кричи же, черт возьми! — орал он на нашем языке. — Они никогда не остановят меня, пока ты не кричишь.

Стражник отсчитал двадцать пять ударов и повернулся к белым.

— Дай сюда плеть, — сказал Птичья Глотка.

Он с силой ударил стражника, который взревел от боли.

— Вот как надо бить! Начинай снова!

Мендим засучил рукава куртки, рот его был перекошен.

— Кричи, кричи же! — молил он, стегая меня. — Слышишь, или уши у тебя замазаны навозом?

— Заткнись! — крикнул ему любовник Софи, ударив меня ногой под подбородок. — Довольно! Довольно... Довольно же! — прибавил он.

Мендим остановился.

— Завтра никакой еды... понятно? — сказал Птичья Глотка, перевернув меня ногой. — Ты приведешь его ко мне в кабинет послезавтра. Бить будешь весь день... понятно?

— Да, начальник, — ответил Мендим.

Белые ушли.

Вот уж никогда не думал, что проведу ночь в хижине Мендима ме Тпта. Он дремлет против меня с открытым ртом, похожий в глубине своего старого кресла на узел тряпья.

— Мне кажется, я сделал сегодня что-то такое, чего никогда не забуду, никогда не искуплю...— сказал он, когда мы остались одни.

Его огромные глаза подернулись слезами.

— Бедный Тувди! Бедные мы...— жаловался он.

* * *

*Вторая ночь на
сторожевом посту*

Нас человек двадцать заключенных, «людей-в-чем-нибудь-замешанных», которые должны разносить воду даганским белым. Это так называемая водная повинность. Источник находится более чем в километре от европейского квартала, у подножия возвышенности, на которой тот расположен.

Бидон мой течет. Я кое-как замазал его глиной. Вода все же льет мне на плечи. Самое тяжелое — преодолеть подъем, неся бидон на голове, когда стражник идет за спиной и подгоняет тебя плетью. Мы бегом спускаемся к источнику, поднимаемся в гору, и затем все начинается сызнова... В полдень мне показалось, что голова моя пылает. К счастью, волосы у меня жесткие, курчавые, и бидон с водой стоит на них, как на подушке.

Мне было приятно думать, что ни комендант, ни г-н Моро, ни любовник Софи... ни один даганский белый не вынес бы этой повинности на нашем месте...

В полдень посещение Каллизпи.
Смех, слезы и опять смех. Подарок — пачка сигарет.
Новости из резиденции.
Обо мне больше не говорят. Комендант с женой воркуют или делают вид, что воркуют, как два голубка.

В час дня посещение Баклю.
Дрожащие губы. Немного денег. Новости из резиденции.

Обо мне совершенно забыли. Господа воркуют, как два голубка... но время от времени госпожа смотрит в окно на проезжающие машины. Хочется ли ей видеть, как возвратится в Дангап г-н Моро? Ему волей-неволей придется проехать мимо резиденции. Нет другой дороги, которая бы вела к нему домой...

Посещение сестры.

Много слез. При виде ее можно подумать, что она потеряла мужа. Она не мылась с тех пор, как меня арестовали. Следы слез и соплей видны на ее грязном лице. Станный способ выражать горе, вызывая отвращение к себе. Но таков обычай. Своими слезами она будет отравлять жизнь мужу до тех пор, пока меня не освободят; бедняга даже не смеет попросить, чтобы она приготовила ему поесть.

Она принесла мне немного денег, ровно столько, чтобы сунуть в лапшу моего ангела-хранителя Мепдима. Она посоветовала мне держаться спокойно, как будто это по лучшему способу вывести белых из себя.

Бедная сестра! Она очень напоминает нашу мать: и своими советами, и озабоченным выражением лица, и полными слез глазами. Я все же пемпого растроганся...

Посещение зятя.

У нас вошло в привычку разговаривать, задавая друг другу вопросы, и отвечать на них новыми вопросами. После первых минут волнения, вызванного тем, что мы встретились в неволе, под охраной стражника, зять напомнил о своем присутствии вопросами: «Куда мы идем?» и «Что мы, в сущности, собой представляем?..» При этом он широко размахивал руками.

Я не знал, что на это ответить, лишь задал ему тот же вопрос, когда он уходил.

Посещение законоучителя Обебе.

Это маленький, надоедливый старичок, и надо много терпения, чтобы выносить его. Он прочел мне длинную проповедь о крестных муках сына божьего. Видно, принимает меня за новоявленного Христа. Он говорит о всепрощении, о награде и милости божьей, о небе, словно я должен вскоре отправиться туда.

Однако еще с довоенных пор мошенник страдает гонорей, а сегодня не постеснялся разделить наш скудный обед. Он обещал прийти завтра.

Мендим избавит меня от него.

* * *

Водная повинность.

Вода и пот. Побои. Кровь.

Крутая дорога. Смертельный подъем. Усталость.

Я не мог сдержать слез.

Пошла горлом кровь, тело предало меня. Чувствую острую боль в груди, так и кажется, что в легкие вопзился гарпун.

Сегодня утром Мендим отвел меня к Птичьей Глотке, который сначала и слушать ничего не хотел.

— Меня не проведешь, — говорил он, напрягая шею, — меня не проведешь, друзоцк...

Он встал из-за стола и начал вертеть меня из стороны в сторону. Положил влажную руку мне на лоб, поморщился и пощупал мой пульс.

— Ладно, — сказал он, садясь на прежнее место.

Он вынул тетрадь и спросил, как меня зовут. Окончив писать, он протянул тетрадь Мендиму, который щелкнул каблуками.

— Отведи его к врачу, — сказал Птичья Глотка стражнику, — посмотрим, в чем тут дело... А ты, — прибавил он, смотря мне в глаза, — не воображай, что избавился от допроса — мы допросим тебя сегодня вечером, несмотря на болезнь.

Мы вышли.

Я никогда не был в больнице и лишь по дороге на рынок видел ее облезлые желтые стены над живой изгородью из гибискуса. Два места в Дангане наводят ужас на местных жителей — тюрьма и больница, которую все зовут здесь «Морильней для негров».

Наконец мы пришли.

Городская больница находится между административной частью и торговым центром. Она состоит из десятка одинаковых домиков, расположенных вокруг лужайки, посередине которой возвышается красно-желтое здание операционной.

Чернокожрый санитар увидел нас и двинулся навстречу Мендиму, протянув руку и широко улыбаясь. Я понял по его возбужденному виду, что он боится. Он боялся Мендима, как и все прохожие, которые лихорадочно обнажали головы при встрече с нами. Санитар угодливо предложил Мендиму сигарету. Огорченный тем, что тот не курит, он порылся в карманах и вытащил орех кола. Расколос его пополам. Протянул одну половину Мендиму, а другую положил себе в рот. Челюсти обоих задвигались одновременно. Санитар скорчил гримасу.

— Что с этим парнем, — спросил он, — симулянт?

Мендим вобрал голову в плечи и перестал жевать. Он плюнул к ногам санитаря.

— Прошу прощения... — проговорил санитар и встал, словно по команде «смирно», — но среди ваших заключенных часто попадаются симулянты...

Мендим опять плюнул, теперь уже на ботинки санитаря. Тот пропустил нас.

— Я в... в... от... чая... нпп... — бормотал он нам вдогонку.

— Все они такие, все... — сказал мне Мендим. — Знает, подлец, не сегодня-завтра мы с ним встретимся... Вот и болтает чепуху...

Мы направились в амбулаторию. Выстроившись в два ряда, больные ждали у двери, на которой висела дощечка: «Кабинет врача». Так как очередь могла не уместиться на веранде, сторож, наводивший здесь порядок, сделал настоящий фокус и все же разместил весь народ. Всевозможные люди, больные всеми существующими болезнями, соседствовали здесь, теснились, толкались, потели, и толпа то устремлялась ко входу, то откатывалась прочь, в зависимости от того, открывали или затворяли дверь. Здесь были несчастные, покрытые прыщами величиной с

клубни маньчжун, прокаженные в нарывах и болячках, больные сонной болезнью с пустыми глазами, беременные женщины, старухи, хнычущие младенцы и так далее, и тому подобное.

При виде Мендима сторож встал навтыяжку. Мендим приказал: «Вольно!» Ударами плетки он проложил дорогу в толпе. Сам постучался в дверь кабинета. Там уже находился больной, который приоткрыл дверь. Узнав Мендима, он вышел и пропустил нас, низко кланяясь.

— Никого еще нет, — сказал он, — сейчас только десять... Чернокожий врач на операции. Прием начнется, когда он закончит... А европейский доктор никогда не бывает на месте... Впрочем, его произвели недавно в капитаны...

Я сел на скамью. Хотелось пить. Казалось, огромная игла пронзила мне грудь. Я не мог глубоко дышать. Мешал обруч, сжимавший ребра. Мендим сел против меня. Он листал и перелистывал запись приема, кляя носом.

— Почему ты не сказал мне, что тебя ударили вчера прикладом? — неожиданно спросил он.

— Ты знаешь, Джафаро бьет, не щадя, — продолжал он. — Признаться, я не могу понять... Ваши северные братья, право, бесчеловечны...

За дверью послышался шум. Вошел чернокожий врач. Он пожал нам руки, повесил шлем и сел за стол.

Доктору, наверно, лет сорок, но тонкая фигура придает ему юношеский вид, который не вяжется с татуировкой между бровями, бывшей в моде после первой мировой войны.

Врач велел мне раздеться. Он прошелся стетоскопом по моей спине, приложил его к груди, попросил вдох-

путь, недовольно нахмурясь, но мгновенно спустя его лицо снова приняло бесстрастное выражение. Он вынул трубки из ушей, закурил и пересел со стула на крышку письменного стола.

— Опять удар прикладом...— заговорил он.— Надо бы сделать просвечивание... К сожалению, ключи от рентгеновского кабинета не у меня. А главного врача нет...

Он встал и яростно затушил сигарету о попельницу.

— Его нет... никогда не бывает на месте...— сказал он, как бы разговаривая сам с собой.

Он положил руку мне на плечо.

— Мы отправим тебя в больницу... Но бойся... Все будет хорошо. Я напишу рапорт полицейскому комиссару.

Он писал минут десять, затем передал письмо Мендиму, который удалился, щелкнув каблуками. Врач позвал санитара.

— Он вышел,— ответил другой негр, ворвавшийся в кабинет со склянкой под мышкой.— Нету спирта...— проговорил он и с шумом поставил склянку на стол,— нету снирта...

Он снял белый колпак и вытер лоб. У санитары была плоская физиономия, словно приплюснутая ударом кулака, которая придавала ему сходство с огромной жабой. Он не застегнул ни куртки, ни халата, чтобы не стягивать своего огромного живота. Тонкая золотая цепочка пряталась в бесчисленных складках его бычьей шеи и появлялась на кадыке, где крошечный распятый Христос, уже не золотой, а медный, подвергался пытке, купаясь в испарине этого тучного негра.

Врач равнодушно взглянул на вошедшего и указал ему на дверь.

— Да, да, да, да... — пробормотал тот, смеясь, — да, да, начальник...

Запах спирта и эфира, отравлявший воздух в кабинете, исчез вместе с ним.

Мне было холодно. Несмотря на удушливую жару, зубы у меня стучали. Слабость сковала тело. Я чувствовал себя легким-легким, тысячи кузнечных мехов ускоряли мое дыхание. Мысли остановились на мертвой точке. Белый халат врача накрывает меня, окутывает всю комнату. Он парит над могилой отца Жильбера, над его мотоциклом, над «дробителем белых»... Я сижу на верхушке гигантского бавольника, а внизу, у моих ног, расстилается мир прокаженных, сифилитиков, беременных женщин с распоротыми животами, грязных стариков, где миллионы Птичьих Глоток, взгромоздившихся на термитники, наводят порядок ударами плеток... Я раскачиваюсь на ветке и очертя голову бросаюсь вниз, делаю прыжок в тысячу километров и падаю в этот мир, и голова моя разлетается на куски, как бомба. Да, теперь я лишь облако, светящееся облако, светящаяся пыль, которую унесит ветер... и все становится черно...

Придя в себя, я понял, что лежу на покрытой циновкой деревянной кровати в чулане, перегородка которого не доходит до пола. С кровати видны только ноги людей. Дверная ручка повернулась. Я закрыл глаза.

— Еще не очнулся, — сказал чей-то голос, по которому я признал врача-африканца.

Доктор пощупал мне пульс, лоб и ушел. Ручка снова повернулась. Послышалось шлепанье босых ног. Я открыл глаза и увидел изуродованное шрамом лицо под ярко-красной феской. Человек стоял навтыжку. Это был

сара. Я показал ему жестом, что хочу пить. Он погрозил мне штыком. Я присмирел. У меня страшно болела голова.

В шесть часов вечера снова пришел врач-африканец, на этот раз его сопровождали белый доктор и Птичья Глотка. Они откинули одеяло и выслушали объяснение туземного врача. Он говорил, что у меня, очевидно, сломано ребро, которое и повредило бронх.

— Посмотрим, что будет завтра, — проговорил врач-европеец. — Впрочем, у него только... — Он взглянул на мою температурную кривую. — ...только тридцать девять и пять. Для их брата это немного... Однако можно не опасаться, что он сбежит, — добавил он, чтобы успокоить Птичью Глотку.

Меня заставили проглотить какие-то таблетки. Чернокожий врач поправил мое одеяло. Они ушли.

В полночь я притворился, что храплю. Белые пришли опять, но одни. Доктор передал спутникам слова своего коллеги. Я незаметно приоткрыл глаза. Здесь был и г-н Моро. Каким он казался довольным, когда стоял, переминяясь с ноги на ногу, у моей кровати.

— Он должен понести наказание, — говорил г-н Моро, — вылечите его и пришлите ко мне. Это опасный субъект... Я сумею вырвать у него признание. Я займусь им не позже завтрашнего дня...

Белые ушли.

Санитар, делавший обход, зашел ко мне. На нем был халат, надетый поверх плавок. Он многозначительно посмотрел на меня, взял мою руку.

— Нет, я не верю, чтобы ты сделал то, в чем тебя обвиняют, — сказал он. — Я никогда не ошибаюсь. По лицу видно, что ты не способен на такую вещь... Здесь что-то кроется... В толк не возьму, почему ты такой важный больной?.. Когда белые захотят разделаться с нами, они

добьются своего... Зачем ты еще торчишь здесь?.. Никто тебе не поверит, пока говорить правду будешь только ты... да, так оно и есть. Ты годен теперь лишь для Испанской Гвинеи пли... для кладбища..

Он дал мне сто франков и ушел.

Я чувствовал себя лучше.

Я должен бежать... Я доберусь до Испанской Гвинеи... Г-ну Моро не разделаться со мной!..

Стражник уже храпит. На больничных часах прошло три.

Надо попытать счастья, хотя надежды почти нет...



ГОСПОДИН ТУНДИ—ЧЕЛОВЕК

(Послесловие)

Густой мрак выплзл из леса, окутал деревню. Жалобно кричат птицы. Далекый тамтам доносит скорбную весть. На убогом бамбуковом ложе умирает юноша. Над его головой по стене бегают пауки, и их огромные тени кажутся жадными спрутами...

Тревожна эта африканская ночь, неприютно в ней человеку. С первых строк романа читатель погружается в атмосферу беды. Недолгая жизнь камерунского юноши Тунди так же непроглядно черна, как и безлуная ночь — последняя его ночь, ночь его смерти.

Книга Фердинанда Ойоно «Жизнь боя» говорит о страшных вещах. Чуть ли не на каждой странице — побои, унижения, дикость, нищета, грущобы... Книга трагична. Трагична, но не беспросветна. Не только о каждодневной пытке, которой подвергают колонизаторы его соотечественников, рассказывает писатель. Роман

Ойоно — роман о человеческом достоинстве, крепнущем в душах вчерашних рабов.

«Жизнь боя» Фердинанда Ойоно вышла в 1956 году. Эту дату по праву можно считать годом рождения молодой камерунской прозы: в 1956 году увидел свет и второй роман Ойоно, «Старый негр и медаль», и роман Монго Бети «Бедный Христос из Бомба»¹, и повесть Бенжамена Матипа «Мы не знаем тебя, Африка». При всем своеобразии авторского почерка каждого из трех писателей, книги эти родственны друг другу. Молодые африканские прозаики выразили самый дух времени, их произведения были направлены против колониализма, и прежде всего против союза мощи, кнута и кадила, о котором с такой яростью сказал еще один камерунец, поэт Р. Филомбе:

Святая троица, проклятая троица,
Колониальная троица
Явилась к нам:
Господин коммерсант,
Господин комендант,
Господин преподабный отец.

С этими тремя господами лицом к лицу судьба свела маленького боя, умного, наблюдательного, порывистого юношу Тунди...

Произведения камерунских романистов обнажили истинную сущность колонизаторов, отбросили прочь и, более того, высмеяли ходячие представления, связанные с «патернализмом», сусальными картинками, где заботливые пастыри умильно и прилежно стригут благодарных и послушливых овец.

Тема прозрения, утраты иллюзий была закономерна и естественна для африканских писателей нового поколения, увидевших лицемерие и ложь во всех сферах колонизаторской практики и

¹ Ф. Ойоно, Старый негр и медаль, Гослитиздат, М. 1962; Монго Бети, Бедный Христос из Бомба, ИЛ, 1962.

пропаганды. Эта тема родилась в послевоенные годы, с началом крушения колониализма, с началом борьбы африканских народов за национальную независимость. Молодые писатели показывали прозрение своих сверстников, показывали так, как прозревали, наверно, они сами, вчерашние мальчики, получившие образование в католических школах и миссиях, научившиеся читать и писать, чтобы в первых же проповедениях обличать своих учителей.

О годах учения, о муштре под палкой священнослужителей и наставников в романе «Жизнь боя» рассказано очень скупо. А вот младший брат Фердинанда Ойоно — Монго Бети (в 1956 году Ойоно было двадцать семь лет, а М. Бети — двадцать четыре) посвятил этому свой роман «Бедный Христос из Бомба». Герой романа, мальчик Денн, как и Тунди из «Жизни боя», испытывает горькое разочарование: католическая миссия оказывается рассадником самого страшного зла, разврата, болезней, гнусностей, подлостей. Вначале Денн тоже, раскрыв рот, ловит каждое слово своего преподобного «благодетеля», своих белых хозяев; по все слышнее и слышнее за лукавой наивностью повествования звучит горечь. К концу книги герой Монго Бети уже многое понял, о многом стал задумываться. Ему, бывшему служке из католической миссии, предстояло пережить еще немало разочарований... Но будущее его осталось за рамками романа.

Фердинанд Ойоно в «Жизни боя» словно дает один из возможных вариантов дальнейшей судьбы маленького африканца. Ойоно ведет своего Тунди туда, куда Денн еще не успел заглянуть, ведет его в жизнь, где надо распрощаться с последними иллюзиями, где останется лишь ненависть ко всем и всяким — мирским и церковным — пастырям и стригалям. При этом Ойоно не то чтобы открывает какие-то новые пласты африканской действительности, нет, он просто глубже проникает во внутренний мир своего героя, доводя до подлинного трагизма конфликт между «цивилизаторами» и «туземцами».

И тогда, параллельно с темой прозрения и утраты иллюзий, усиливая ее и вырастая из нее, возникает другая тема — тема распрямления героя, становления в нем человеческого достоинства и созревания его характера.

Первые страницы дневника Тунди, этой исповеди африканца новой формации... Перед нами «юноша-который-скоро-станет-мужчиной», умный, сметливый, немного сентиментальный, но главное — чистый и искренний. Он, разумеется, не борец, он не станет борцом даже к концу своей жизни, но, показанный крупным планом, этот характер символизирует талантливость, человечность, неподкупность парода, не желающего больше мириться с гнетом и несправедливостью.

К «белым» маленького Тунди влечет любопытство, даже скорее любознательность, стремление постичь секрет их могущества и знаний; он с восхищением взирает на этих людей, которые так уверенно шагают по его родной земле. Мальчик с радостью, даже с гордостью становится боем коменданта — ведь «собака короля — король собак», — по оказывается, он не может быть ни королем, ни собакой, потому что Тунди — Человек! Вот это ощущение себя человеком, приход к этому ощущению, рост и укрепление его Фердинанд Ойоно передает тонко и точно. Даже в жанре дневниковых записей автор старается не столько рассказать о переживаниях Тунди, сколько показать, как ведет он себя в самых разных ситуациях (а жизнь не скупится на самые разнообразие варианты испытаний и унижений). И из этих зарисовок вырастает характер — в движении, в мужании.

Некоторое время Тунди будет еще краснеть от удовольствия, когда хозяин небрежно, как подачку, кинет слово похвалы его расторопности. Он пропоет гимн, поэтический и страстный, красоте белой госпожи, гимн своей любви к ней. Но скоро, очень скоро хозяин прочтет во взгляде боя уже не восхищение, а спокойное равнодушие. А потом госпожа комендантша предстанет перед ним как героиня заурядного адюльтера, и она уловит в его глазах рав-

нодушное презренно и возненавидит его насмерть. Инженер-агроном трусливо и злобно отведет в сторону зеленые глаза; начальник тюрьмы придет в бешенство — он тоже не сможет выдержать спокойного взгляда Тунди. И госпожа кипит своему слуге, как плевок в лицо, издевательское обращение: «Господин Тунди», — кипит, не понимая, какой большой смысл таится в слове «господин», если принять его всерьез. А Тунди достоин того, чтобы к нему и с ним обращались всерьез. Ведь Господин Тунди уже по прежней покорный слуга, он действительно сам себе господин!..

То, что колонизаторы прочтут в глазах комендантского боя, покажется им наглостью, признаком безумного самомнения, обуявшего бессловесного слугу. Но это просто человеческая реакция на тупость и ханжество хозяев, на их злобную мстительность. Тунди не умеет скрывать своего отношения к людям. Он уважал своих хозяев, — и тогда трепетал от восторга. Он перестал их уважать, — и вот, помимо воли, в каждом его жесте сквозит чувство собственного превосходства над этим скопищем нравственных уродов. Презрительная усмешка невольно кривит его губы так же, как пальцы сами рвут на мелкие клочки банковский билет, полученный «на чай» от начальника тюрьмы.

Нет, Господин Тунди не в силах угождать своим «господам». Прежде он был услужлив, но делал это от души. Теперь он стал умнее и сильнее. Он не будет кричать во время пытки. Комендант может своим сапогом раздавить ему пальцы на руке, Тунди не боится коменданта. За это он заплатится жизнью: ведь негодяй не может быть снокоен, пока рядом с ним существует тот, кто знает, что он — негодяй. И Тунди погибает, но погибает победителем: ведь правда на его стороне, негодяй всегда останется негодяем, а Тунди из раба превратится в Человека.

Так Тунди оказывается выразителем презрения и ненависти, которые обуевают сердца всех его соотечественников, страдающих под пятой комендантов и коммерсантов. Ненавидит своего любовника Софи, презирают своих хозяев повар, стражник, портомой —

тысячи простых камерунцев, запечатленных в романе десятком эпизодических фигур. Тунди ненавидит колонизаторов не больше, чем его собратья, и не лучше, чем они, понимает жизнь. Пожалуй, Тунди наблюдательнее их, образованнее; он просто больше знает. И писатель поставил его в центр конфликта, раскрыл изнутри, психологически подробно и мотивированно, ибо для писателя этот герой понятен и близок. В Тунди, как и в героях Монго Бети, очень много автобиографических черт.

Господни Тунди все больше задает вопросов и задается вопросами. Он уже не может вернуться к прежней вере, к прежней бездумности, к прежним восторгам «Река не течет вспять». Такое провозглашение необратимости исторических сдвигов — еще одно доказательство того, что трагическая книга Фердинанда Ойоно по сути своей оптимистична.

К концу романа сгущается напряженность. Ирония все больше уступает место сарказму, гротеску. Сцена истязания ни в чем не повинных негров потрясает Тунди. «Бывают вещи, которые лучше не видеть. Иначе будешь постоянно, помимо воли, вспоминать о них». В сознании Тунди встают вереницы картин, и все это — не бред, это страшнее бреда, потому что это колонпальная действительность. Даже сновидение, навалившееся на смертельно больного, зверски избитого Тунди в тюремной больнице, оно тоже, при всей своей бредовости, удивительно реалистично: «Я сижу на верхушке гигантского бавольника, а внизу, у моих ног, расстилается мир прокаженных, спфилитпков, беременных женщин с распоротыми животамп, грязных стариков, где миллионы Птичьих Глоток, взгромоздившихся на термитники, наводят порядок ударами плеток...»

Такая интенсивность ненависти к «порядку» колонизаторов, такой ужас писателя перед дикостью этого строя — уже бунт против него. Роман Ойоно — книга страстная, и она не может оставить читателя в состоянии духовного спокойствия. И хотя роман «Жизнь боя» отражает вчерашний день Африки, посвящен жизни

Камеруна до провозглашения государственной независимости, его читатель и ныне получает заряд ненависти. Эту ненависть вызовут не только племенные вожди, продающиеся сами и продающие своих соплеменников за жалкие побрякушки, но и те африканские деятели, которые по сей день клюют на приманки неокOLONиализма. Поэтому читатель всей душой на стороне тех африканцев, «которые-становятся-мужчинами» и из которых рекрутируются новые борцы. Для борьбы с несправедливостью нужно почувствовать себя человеком, ощутить свою нравственную правоту и силу. Как Господин Тунди!..

Идеи человеческого достоинства пронизывают книгу Фердинанда Ойно. Он пишет сжато, скупое и целеустремленно, синтаксис его прост и динамичен, фраза незатейлива и точна, он суров в отборе красок и ритмов, не любит лишних эпитетов и пространных описаний, он не отвлекается от изображения главного конфликта. Его диалог по-драматургически песом, портреты не выписаны, а набросаны, детали запоминаются, сравнения поражают смелостью.

Всего лишь раз появляется в романе санитар, на чьем кадыке вновь подвергнут пытке медный Христос,— но этого тучного негра читатель уже не забудет. Великолепно написан характер свирепого стражника, «габонского гиппопотама» Мепдима мо Тита; он, хозийский пес, не может сдержать крика сострадания, когда избивают Тунди. И как точно раскрыто душевное состояние африканского врача, которому его белые «коллеги» не оставляют ключей от рентгеновского кабинета, как раскрыто оно через маленький, но точный штрих: с остервенением тушит он в пепельнице свою сигарету!..

У Фердинанда Ойно нет колонизаторов «вообще», нет африканцев «вообще», у него есть живые люди, характеры. Сложность отношений между его персонажами определяется не прихотью художника, а той действительностью, той социальной реальностью, имя которой — система колониального гнета, всего несколько лет

тому назад безраздельно господствовавшая на необъятном Африканском континенте.

Фердинанд Ойоно родился в Камеруне в 1929 году. Высшее образование он получил во Франции, в Париже. После провозглашения на его родине независимости он был на дипломатической работе, входил в состав камерунской делегации в ООН. Ныне он живет в Камеруне. Подобно Монго Бети, Ойоно в последние годы молчит. Прежние конфликты отчасти потеряли уже свою жгучую злободневность на родине писателей, ну а новые конфликты, видимо, требуют еще своего идейного и художественного осмысления...

Однако ситуации, отображенные Фердинандом Ойоно в его романах «Жизнь боя» и «Старый негр и медаль», не стали еще достоянием истории. Говоря о вчерашнем дне, книги камерунских писателей содержат напоминание и урок. Судьба Тунди и есть этот урок. Он был смелым и честным, Господни Тунди, он был Человеком! Нужно создать на земле Тунди такую жизнь, чтобы густой мрак, выползающий из лесов, не окутывал души людей. Творцов новой жизни помогают растить произведения африканских писателей, Роман Фердинанда Ойоно помогает рассеять мрак.

М. Ваксмагер

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Жизнь боя. Роман	5
Дневник Тунди. Тетрадь первая	15
Дневник Тунди. Тетрадь вторая	85
М. Ваксмагер. Господни Тунди — Человек. (Послесловие)	143

**Фердинанд Ойно
жизнь боя**

Редактор М. Малышев

Художественный редактор Г. Клодт

Технический редактор Э. Евдокимова

Корректоры Г. Асланянц и А. Илюхина

Сдано в набор 4/III 1964 г. Подписано
и печати 23/IV 1964 г. Бумага 70×108^{1/2}.
4,75 печ. л. 6,5 усл. печ. л. 5,89 уч.-изд. л.

Тираж 50 000. Заказ 1388, Цена 30 коп.

Издательство

«Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Васманная, 19.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова

Главполиграфпрома

Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати.
Москва, Ж-54, Валуевая, 28.

74100